Андрей Убогий

 П И Р Ы\*

\*Надеюсь, тень Евгения Баратынского не явится взыскивать с меня за название его поэмы, поставленное заглавием кулинарного словаря. Но более подходящего названия этому сочинению найти мне не удалось.

 (Автор)

 АРБУЗ. Как любой букварь открывается картинкой арбуза – кто не помнит его алую мякоть, полосато-зелёную корку и чёрные семечки? – так, пожалуй, арбузом откроем и мы кулинарный словарь. Тем более что букварь и словарь – это братья: и тот, и другой сообщают о главном, о базовом знании, как бы вручают нам те кирпичи, из которых мы строим картину своего мироздания.

 И вот перед нами лежит самый первый «кирпич»: буква «А» – и сахарный алый ломоть, истекающий розовым соком, над которым кружит пара ос, своим напряжённым брунзжаньем как будто ещё добавляя арбузу и спелости, и красоты. Ведь арбуз – он не просто арбуз: это символ щедрого лета, знак его изобилия и полноты. Арбуз – это знойные полдни, короткие тёплые ливни, это лиловая вязкая грязь чернозёмной дороги, это коршун, плывущий в промытой дождём синеве, это полынь-подорожник в сквозной тени лесопосадок, где мы сели перекусить...

 Наш арбуз можно даже не резать, а молодецки разбить кулаком: он треснет и распадётся на несколько крупных, крупитчато-алых долей. Кажется: арбуз разорвал себя сам, не выдержав собственной спелости и полноты. Теперь достанем из сумки полбуханки чёрного хлеба – и приступим к обеду. Хлеб с арбузом прекрасно подходят друг другу – особенно, если хлеб ноздреват и душист, а арбуз сладок. Едим, аж трещит за ушами, да пощёлкивают на зубах арбузные семечки, которые ты время от времени сплёвываешь в руку, любуешься на их гладко-лаковую черноту – и жалеешь стряхнуть со своей, уже липкой от сладкого сока, ладони. Да и семечкам жаль расставаться с тобой: они липнут к руке, и приходится шаркнуть ладонью о жёсткую траву.

 До чего же хорош наш обед! Поглощая вот эту сладчайшую мякоть, да ещё заедая её свежим хлебом – мы словно и сами становимся частью этого полдня в степи, этой неги и благости лета. Только жаль, что арбуз быстро съеден – вон, только корки белеют в пожухлой траве, и по ним деловито снуют муравьи – жаль, что нам скоро вставать, расставаясь с насиженным местом. Может, лучше вздремнём – чтоб не топать по самому пеклу? Тем более, мы осоловели от сытости, и смотрим на всё сквозь её поволоку.

 Ложишься ничком – прямо там, где сидел и взахлёб жевал сладкий арбуз – и почти моментально проваливаешься в забытьё, из которого вынырнешь только минут через сорок: изумлённый, не понимающий, где ты находишься – и с непременной сухою травиной, приставшей ко всё ещё липкой от арбузного сока щеке…

 «АРТЕМИДА». «Артемида» – не только богиня охоты, но ещё и название греческого кафе, в котором мы ели вкуснейших кальмаров, запивая их местным вином. Мы с Еленой подошли к нему с задворок, и я поразился тому, до чего же здесь всё затрапезное и до боли родное: бурьян, козы, куры, ржавые вёдра и чугунки на плетне, сонный пёс возле будки да покосившаяся калитка. «Какая же это – подумал я, – Греция? Это наша Россия: даже запах сухого навоза тот самый, который мне памятен с детства». А уж мальвы – их розовые цветы на высоких прогонистых стеблях – знакомы мне лет, наверное, с трёх. И даже пчелы сюда залетели как будто из детства: их клубящийся гул словно запутывал само время, которое больше не знало, куда ему течь, и сонно крутилось в блаженном бреду настоящего…

 Моя бы воля, я бы так и остался где-нибудь здесь, на завалинке, в тени пожелтевшей от зноя акации – и сидел бы, слушая пчёл, что гудели над розовой мальвой. Это надо же было уехать Бог знает куда – чтобы вновь окунуться в ту, вечно юную, дряхлость русского сельского быта, которая так мне мила и знакома.

 Но долго побыть на задворках кафе «Артемида» не удалось. Мы завернули за угол и оказались перед просторной верандой, лежащей в тени полосатых маркиз. Помню зажимы, которыми были прихвачены бумажные скатерти на столах – чтоб их не сбрасывал ветер.

 Наш заказ был простым: хлеб, кальмары, вино. Так, в простоте, пировали и древние греки: они понимали, что истинно насыщает не то, что стоит на столе и потом наполняет желудок – а то, что питает и радует душу. И здесь, на веранде кафе «Артемида», этой радости было, хоть отбавляй: чего стоили одни виды! Вокруг поднимались склоны аттических бурых холмов, вдали бирюзово светилась полоска Эгейского моря, смуглый мальчик гнал стадо коз по обочине пыльной дороги, от домов ближней деревни доносились звуки «Сиртаки», а полосатый навес над верандой кафе так надувался и хлопал от ветра, словно это был парус.

 Но каковы же, вы спросите, были кальмары? Выловленные сегодняшним утром и обжаренные в оливковом масле, они возвышались на блюде румяною горкой – а рядом желтели лимоны. Их вкус напоминал одновременно рыбу и курицу – и при этом был очень простым, как и всё в «Артемиде».

 А разве не просто жили и древние – те, кого мы здесь вспоминали так часто? Вот как, например, начинается «Пир» Платона: «…он встретил Сократа, умытого и в сандалиях, что с тем редко случалось, и спросил его, куда это он так вырядился. Тот ответил:

 - На ужин к Агафону…»

 И что же они ели-пили на этом пиру? Наверное, тоже что-нибудь очень простое: хлеб, вино, сыр, оливки – да ещё, может быть, вот таких же, обжаренных в масле, кальмаров. Изобилие было в другом: в разговорах и мыслях. Уж в этом-то древние греки оставили нас далеко позади; и спасибо, хоть здесь, в этом славном кафе «Артемида», мы вспомнили о настоящих пирах, о высокой и радостной их простоте.

 БАБУШКИН ПОГРЕБ. В пору, когда я был ребёнком, холодильники на селе были редкостью, и еду хранили в погребах.

 Вспоминая бабушкин погреб в Тиму, перво-наперво вижу покатую крышу погребки: на её серых шиферных волнах сушатся дольки нарезанных яблок. Погребка мне, пятилетнему, кажется ветхим и накренившимся домом, который врос в землю настолько, что снаружи осталась одна его дверца. Железная ручка её так нагрелась на солнце, что обжигает пальцы.

 Но открыть лёгкую дверцу погребки несложно; гораздо труднее откинуть люк погреба. Я с натугой, с сопением дёргаю ручку – пока, наконец, не откидываю дощатую крышку, прикрывающую вход в подземелье. Передо мною – прохладная, вниз уходящая, тьма. Земляные ступени кое-как укреплены досками; но земля всё равно осыпается из-под ног, когда я начинаю спускаться – и там, глубоко в темноте, комки земли барабанят о крышки невидимых банок с компотом. Вот за ним, за компотом, я и спускаюсь под землю.

 Надо сказать, что моя бабушка по отцу, Мария Павловна Панюкова, работавшая провизором районной аптеки, все заготовки – варенья, соленья, компоты – исполняла с такой безупречно-аптекарской точностью и аккуратностью, что вишни, груши и яблоки в этих компотах становились вкуснее, чем были в свежем виде. Бабушка сотворяла с каким-нибудь «белым наливом» или грушей-бессемянкой то, что художник творит с человеком, когда пишет его портрет. Отсекая случайное, лишнее, нехарактерное – он защищает человеческий образ от действия времени, изымает его из суеты перемен, и сохраняет нетленную суть человека. Так и бабушка: консервируя фрукты и овощи, она защищала их от воздействия времени, и не просто хранила их вкус, форму, цвет – но еще проявляла самое характерное в этих плодах, возводила их в некую высшую, недоступную тлению, степень. «Консервация», то есть «сохранение», становилась воистину схваткой со временем, с тем исконным и непримиримым врагом человека, которого, хоть и не удаётся победить окончательно – всё же возможно заставить остановиться.

 И вот бабушкин погреб был тем самым местом, где время останавливалось. Даже я, пятилетний, и то смутно чувствовал: здесь, в прохладе и сумраке, времени как бы не существует. Во тьме подземелья, где нет звуков, движения, света и цвета – не было и ничего, что могло б отмечать его, времени, ход. Поэтому груши и вишни под крышами банок были почти что бессмертны – они пребывали в том мире, где нет перемен.

 Спустя много лет, оказавшись в Египте, в подземных склепах Долины Царей, я испытал то же самое, с детства знакомое, чувство отсутствия времени. Прохлада, сумрак и тишина – вот именно, что гробовая – тишина, которую нарушало лишь шарканье туристических ног, и узоры иероглифов на стенах, в которых терялся и путался взгляд – это был мир, в котором время остановилось. Да и фараоновы мумии в склепах Долины Царей были чем-то вроде консервов – того, чему предназначалось преодолеть смерть и тление, и обмануть вездесущее время. Только, ясное дело, бабушкины консервы выглядели куда аппетитнее, чем сушёные фараоны.

 …Но пора было и выбираться из погреба. Я наугад брал ту банку, что мне подвернулась, сдувал с её крышки землю и начинал карабкаться вверх, переставляя тяжёлую ношу со ступени на ступень. Земля сыпалась из-под моих рук и ног; чем выше, тем было светлее, и я хорошо уже видел ступени и доски, что их подпирали – и видел тряпки, которыми бабушка затыкала крысиные норы. На середине подъёма всегда останавливался, смутно чувствуя: погреб не хочет меня отпускать. Он исподволь как бы тянул меня вниз, в тишину и прохладу. Но и день, что сиял наверху – он манил в его знойный блеск, в изобилие света и цвета, в то суетно-яркое коловращение, которое и называется «жизнь». Я стоял, замерев на той зыбкой черте, что лежит меж поверхностью и глубиной, между светом и тьмой, между жизнью – и смертью…

 И не так-то уж просто мне было решиться вскарабкаться на очередную ступеньку: то есть выбрать тревогу, тоску, неустойчивость жизни взамен тишины и покоя – которые мне обещал неподвижно-таинственный мир подземелья…

 БАНАНЫ РИШИКЕША. Гроздь бананов составляла как раз мой обед в Ришикеше, на севере Индии. Это большая деревня в гималайских предгорьях; и во всём Ришикеше не найти ни куска мяса, ни ломтика рыбы – потому что здесь зона строжайшего вегетарианства.

 Больше всего меня удивляло, как живут собаки, которых здесь множество, и которые вовсе не выглядят истощенными или несчастными. Может, они по ночам ловят крыс? Или даже собаки здесь стали настолько миролюбивы, что им хватает растительной пищи?

 Встретив рассвет на Ганге, искупавшись в холодной, жемчужно-серой воде, я переходил священную реку по подвесному мосту, под которым лениво всплывали и вновь погружались огромные рыбы (их здесь никто не ловил), а потом брёл по солнечным улочкам Ришикеша. Мне здесь всё очень нравилось: тишина и покой, и мелькание ласточек в небе, и ряды сохнущего кизяка на зелёной траве перед хижинами, и коровы, свободно бродящие всюду, и щебет, что доносился из крон деревьев – но издавали который вовсе не птицы, а шустрые и неугомонные обезьяны. Их здесь водится столько, и они так бесцеремонны, что в ресторанчиках на открытых верандах посетителям иногда раздают бамбуковые палки – чтоб отгонять обезьян.

 Не меньше, чем обезьян, в Ришикеше было и нищих – кормленье которых я наблюдал с большим интересом. На просторном дворе, под раскидистым фикусом, дымилась армейская кухня – к которой выстраивалась живописная очередь из полутора сотен бродяг. Молодые и старые, длинноволосые, с холщёвыми сумками через плечо, нищие – все, как один – были очень красивы. Лица их были ясны, глаза – глубоки и спокойны. Достоинству, с которым они ожидали свою миску похлёбки, мог бы позавидовать и какой-нибудь принц. Получив порцию чечевичного супа, щедро сдобренного перцем – я как-то попробовал: чистый огонь! – нищие рассаживались по двору и начинали неспешную трапезу. Всё было чинно и благородно; ни суеты, ни жадности, ни беспокойства нельзя было заметить во время раздачи бесплатной еды.

 Однако пора было обедать и мне. Не утруждая себя сложным выбором, я подходил к ближайшей тележке, нагруженной фруктами, и за двадцать рупий покупал гроздь бананов: маленьких и невзрачных, но сладких. Садился в тени, с наслажденьем вытягивал ноги – и, не спеша, поглощал один банан за другим. До России такие бананы, увы, не довозят: здесь мы едим какие-то суррогаты. А те, в Ришикеше, были настолько вкусны и душисты, что хотелось съесть даже бурую банановую кожуру.

 Впрочем, до кожуры быстро находились охотники. Увлечённо жуя, я вдруг слышал сопенье за правым плечом – и, обернувшись, видел печальную морду коровы. Она, шумно вздыхая, тянулась губами к остаткам банановой грозди. Так мы с ней вместе и доедали обед: я очищал очередной банан, сам жевал мякоть – а корове протягивал мясистые лоскуты кожуры. Было приятно чувствовать, как шершавый язык и мокрые губы коровы шлёпают мне по ладони; я легко ей прощал даже то, что она исслюнявила мне всё плечо.

 Не в тот ли момент, когда я трапезничал вместе с коровой, я и почувствовал Индию, как не просто страну – но как особенный склад бытия? Я чувствовал: эта корова, чей взгляд так глубок и прекрасен, а вздохи печальны, есть не просто животное, близкое мне – но это как будто я сам. Каждый вздох её так отдавался в душе, словно она за меня самого выражала и мою грусть, и усталость от жизни – и одновременно любовь ко всему, что нас с ней окружало. И великая древняя истина Индии «тат твам аси» – «то – есть ты сам» – вдруг становилась настолько понятна, что я удивлялся другому: да как же я раньше мог жить без неё?

 БАТОНЧИК «ЗАДАВАКА». Почти сутки пришлось провести близ Онежского порта, ожидая моторку, которая могла бы забросить нас на Кий-остров. Порт был безлюден: казалось, он никому в целом мире не нужен. Дебаркадер ржавел; почти все рейсы были отменены; доски и ялики гнили по берегу; несколько тощих собак бродили средь луж, словно тени былого.

 Знобящее и беспокойное чувство рождалось в душе при виде всей этой северной шири: Онежской губы, по которой в отлив обнажались десятки осклизлых и плоских, как шляпки опят, островов; низких речных берегов, так обдутых ветрами, что даже смотреть на них, и то было холодно; серой онежской воды, которая в час отлива с молчаливою мощью неслась в Белое море, а во время прилива бурливо и нехотя двигалась вспять. На душе было тоже просторно и холодно, ветрено и бесприютно. В том, что порт, оживлённый когда-то, теперь так заброшен, что на берегу, кроме нас с другом, да бродячих собак, больше нет ни души – в этом было, конечно, много печали; но ощущалось ещё и согласие с ходом вещей – с тем движением времени, что уносит следы человека с такою же равнодушною силой, с какой и Онега несёт свои воды в холодное Белое море.

 После долгого дня был долгий вечер, и алый закат над Онежской губой, и розовый отблеск по илистым отмелям (был как раз час отлива), и тишина столь глубокая, что ей не мешали те звуки, которые нас окружали: плеск волн о берег, или сипенье сырых досок в костре. Огонь горел ярко и ало, чадил – доски, что мы собирали по берегу, пропитались мазутом – но, странное дело, почти не согревал. Низовой ли, от моря тянущий ветер тому был причиной, или просто костёр был маловат – но сидение возле огня не только не приносило покоя, как это бывало обычно, а словно ещё обостряло тревогу. Где-то в полночь костёр догорел, мы залезли в палатку – но, даже сквозь дрёму и сон, ощущалось холодное равнодушие Севера. Казалось: мы в мире последние люди – и утром, выбравшись из палатки, даже следов человека не сможем найти на пустом берегу.

 Правда, утром следы ещё были. Был дебаркадер и перевёрнутый ялик, почти утонувший в песке, и порожние бочки из-под соляры, в которые, словно в громадную флейту, гудел и посвистывал ветер. Ночная тревога не только не стихла, но даже усилилась. Я ходил неприкаянный – всё валилось из рук – и не знал, что мне делать с собою самим и с той безграничною северной ширью, что нас окружала.

 - А что, у нас к чаю ничего не осталось? – спросил мой товарищ, пытаясь раздуть ещё тлевшие угли.

 - Ничего, - сказал я, вспомнив, что вчера мы ужинали последнею горстью изюма.

 И тут стало ясно, что в этом тревожном ознобе, который с вечера не давал нам покоя, виновен не только весь этот северный стылый простор, но и просто-напросто голод.

 - Лёш, пока ты разводишь огонь, я схожу в магазин, - сказал я товарищу и зашагал в город.

 Минут через десять ходьбы я стоял перед прилавком и спрашивал у круглолицей молоденькой продавщицы:

 - Мне бы самых дешёвых конфет. Есть у вас что-нибудь вроде батончиков?

 - Дешёвых батончиков? – переспросила девушка и ненадолго задумалась, а потом улыбнулась. - Да, есть! Называется «Задавака».

 - Как-как? – удивился я.

 - «Задавака»! – и девушка засмеялась так радостно, так хорошо, что у меня даже заныло в груди. – Вам сколько взвесить?

 - Ну, граммов триста…

 Скоро я вышел, неся «Задаваку» в кармане, и всё ещё улыбаясь. Как же мало, думал я, нужно для счастья, если всего-навсего смех милой девушки, которую я больше никогда не увижу, способен настолько переменить отношение к миру. Да, возвращался я в порт совершенно другим человеком. Всё вокруг было мне интересно: и основательные дома, их резные наличники и палисады, и непривычные деревянные тротуары, скрипуче пружинящие под сапогами, и дощатые будки для лодок почти возле каждого дома.

 Когда я вернулся, чай был готов. Мы с другом уселись на брёвнышко, лицом к морю, чья светло-серая полоса поблёскивала на горизонте, и начали неторопливое чаепитие. С каждым терпким глотком и с каждым соевым сладким батончиком, съеденным нами, что-то в душе размягчалось, теплело; даже в ветре, что продолжал тянуть по-над берегом – что-то словно смягчилось. Он казался не так уже зол и не так равнодушен: хотелось не отворачиваться от него, как давеча – а, напротив, подставить лицо его упругим потягам.

 И снова я думал о том, что вот сущая мелочь – батончик из сои, да ещё так смешно называвшийся – а как помогает нам жить… Горсть этих мягких конфет в тёмно-красных обёртках, что я высыпал рядом с уже догоравшим костром – она и сама была словно костёр, согревающий нас. Одну «Задаваку» мы бросили рыжей собаке, крутившейся возле нашего лагеря – и она, сразу признав нас за хозяев, легла охранять нашу палатку.

 Как раз начинался прилив. Вода реки забурлила – и потекла вспять. С каждым плеском волна наступала на илистый берег, и скоро река поднялась до прибрежного ивняка. Отмели и острова утонули, и больше ничто не мешало взгляду скользить к горизонту.

 Наконец затарахтела моторка, и Пётр Моисеевич, с которым мы познакомились накануне, помахал нам из лодки рукой: мол, пора собираться. Уложились мы быстро – и скоро «Казанка», шлёпая плоским днищем о воду, потащила нас в море. Пётр Моисеевич, несмотря на библейское отчество, по виду был настоящий помор, коренастый и немногословный.

 - Болтает, однако! – крикнул он нам, сильно окая, и до самого Кий-острова мы больше не слышали от него ни единого слова. Да и что говорить: разве перекричишь посвист ветра, плеск волн о борта, крики чаек и переменное – то басовитое, то вдруг скулящее – завыванье мотора?

 БОЛЬНИЧНЫЕ СУДКИ. С больничной едой я познакомился рано: не оттого, что болел, а оттого, что моя мама-доктор, когда дежурила и не могла накормить меня ужином дома, делилась со мною едой из больничных судков.

 Это называлось «снимать пробу». Прежде чем раздавать больным обед или ужин, санитарка-буфетчица приносила дежурному доктору пробу еды из котлов пищеблока. До сих пор помню, как выглядели эти стопки плоских кастрюлек, поставленных одна на другую и перехваченных общей ручкой-скобой. Обычно кастрюль было три: для супа, «второго» – то есть котлет или гуляша – и для чая или компота.

 Отчего та казённая стопка кастрюлек вызывала во мне волну нежности и умиления? Может, мы просто-напросто обречены полюбить то, с чем судьба сводит нас в раннем детстве – и первые впечатления жизни становятся незабываемы? Или и впрямь та больничная пища так уж была хороша? Но, как бы то ни было, до сих пор памятен вид и запах больничных, к примеру, котлет, гарниром к которым служило водянистое картофельное пюре. Котлеты, обвалянные в сухарях – да и состоявшие, как я теперь понимаю, в основном тоже из хлеба – так упоительно пахли и так сочились янтарным жиром, что их было жаль рвать казённою вилкой – из четырёх зубьев которой один был обломан, а три оставшихся торчали в разные стороны. Но и котлеты, и вилка были те самые, какие должны были быть – как и чашка с отбитою ручкой, и тарелка с сиротскою синей каймой и с непременным овальным клеймом «Общепита».

 А картофельное пюре? Тогда, ещё в раннем детстве, я на всю жизнь усвоил, что настоящее картофельное пюре и должно быть таким: жидким и синеватым, с комками картофельных тёмных «глазков» и тем характерным вкусом, в котором ты различал даже привкус хлорки, которой буфетчица ополаскивала тарелки. А уж как удавалось буфетчицам, одним лишь волшебным движением ложки, придавать водянистой картофельной кляксе изящно-волнистый рельеф – это и до сих пор для меня остаётся загадкой.

 В казённой еде (в тех же самых больничных судках, что так памятны мне) содержался особый – не знаю, как это точнее назвать – уют неуюта. Такой же уют неуюта был и во всей той эпохе, на которую выпали моё детство и юность. Общаги, вокзалы, больницы и лагеря (правда, я был знаком только с пионерскими), санатории, стройки, казармы, бараки – то есть места, где кипела общая жизнь – были, с одной стороны, бесприютно-унылы, бесцветны, по всей стране одинаковы, и наполнял эти места общей жизни единый, казённый и сумрачный, дух. Но, с другой стороны, ты всегда чувствовал – это было каким-то подкожным, глубинным, мистическим знанием – что именно в этих местах тебе не дадут пропасть. Если даже окажешься сир и наг, болен или несчастен, гол как сокол – то казённая и неумелая ласка огромной страны обогреет тебя, даст кров и пищу, подыщет работу: тоска, бесприютность и холод казённых пространств обернутся вдруг нежностью, даже любовью…

 Вот и в той стопке больничных кастрюль, перехваченных общей ручкой-скобой, содержалась не просто еда (хоть больничную пищу с тех пор и доныне я предпочту иным деликатесам); нет, в тех кастрюльках-судках воплощалась суровая ласка-забота страны обо всех своих детях, пусть даже самых потерянных и непутёвых.

 ВИШНИ. С чего начать оду вишням? Не с того ли, как ты, лет уж тридцать назад, сажал гибкие прутики и не верил, что из них когда-нибудь вырастут не просто деревья – а целый вишнёвый сад? И вот этот сад уже вырос – так же стремительно и незаметно, как прошла молодость, а за ней и почти вся жизнь – и весной мы выходим смотреть на цветущие вишни.

 Прекрасней всего они в сумерках, когда розовеет закат – цветом он напоминает вишнёвый компот – и на фоне заката цветущие ветви, теряя отчётливость, становятся то ли воспоминанием, то ли мечтой или грёзой – чем-то, словом, таким, что прекрасней и глубже реальности. И ещё, если вслушаться, цветущие вишни в густеющих сумерках звучат тихой музыкой. Словно кто-то невидимый там, среди белых ветвей, настраивает виолончель: её бархатистые ноты то тянутся, то обрываются, то опять начинают гудеть басовито и нежно. Это гудят внутри облака вишни майские сумеречные жуки. Приглядевшись, их можно увидеть: мохнатые шарики вьются, толкаясь о ветви и даже сбивая порой лепестки. Лепестки эти падают в твою чашку чая и на скамью, на которой ты оцепенел, не решаясь прервать равновесия редкой минуты: созерцания цветущих вишен на фоне заката…

 Пропустим, пожалуй, май и июнь – и вернёмся в наш сад в ту пору, как вишни созрели, и время их собирать. Но почти каждый год нас опережают скворцы. Когда их стая, издавая жужжащие свисты, влетает в густую вишнёвую крону, то кажется: по ветвям и по листьям прошлась волна свежего летнего ливня. Лиственный купол вдруг наполняется щебетом, шумом и дрожью – а на землю срываются алые капли расклёванных птицами ягод. Такие, побитые клювами, вишни вкуснее всего. Подберёшь пару ягод с земли – пальцы тут же окрасятся ярко-вишнёвою кровью – с наслажденьем раздавишь о нёбо их сочную винную мякоть, и будешь долго мусолить во рту две вишнёвые косточки: словно и нет у тебя дел важнее и интереснее, чем это катание косточек на языке.

 Скворцы обирают не всё: кое-что остаётся и нам. Стремянку мы так и не завели, поэтому собираем вишни, кто как горазд: и с забора, и с табурета, и с развилок стволов. До сих пор пальцы помнят сопротивление ветки, которую пригибаешь к себе: глянцевитые листья шуршат по лицу, вишни качаются перед глазами – иную из ягод рвёшь прямо ртом – и ты вдруг, на секунду-другую, ощущаешь себя частью этого дерева, как бы одной из ветвей, напряжённо несущих груз листьев и ягод.

 Когда вишни собраны – лето уже перешло за зенит, и настают дни варенья. И вот тут я должен описывать, как под деревьями сада, в латунном иль медном тазу поднимается розовой пеной варенье: описание это для русской литературы ещё неотвратимее, чем знаменитая рифма «морозы-розы». Но я, хоть убей, не могу точно припомнить: а я-то сам видел такую картину? Или я только воображал её – или, пуще того, только вычитал из чужих описаний?

 Иногда кажется, что всё-таки видел: в раннем детстве, в саду одной из двух бабушек, Марии Павловны или Марии Денисовны. А потом опять сомневаюсь: да нет, всё же вряд ли – наверное, я себе это надумал…

 Но откуда ж тогда вижу я жёлтый латунный таз – он такого же цвета, как примус, который гудит под ним напряжённо и туго – вижу розовый венчик пены по краю варенья, пыхтящего алыми пузырями, и чувствую даже тот запах: сладкий, с миндальным привкусом косточек, запах варенья из вишен?

 И вообще: откуда приходит к нам то, что мы знаем и любим – откуда приходят слова, мысли, образы? Из нас ли самих – или из того мира, что нас окружает? Или из каких-то нездешних пространств, где как раз и хранится всё то, что и было, и будет – и откуда возник, может быть, этот именно таз с пузырящейся пеной варенья?..

 ВОЗМОЖНОСТЬ ЧАШКИ ЧАЯ. Вот сижу на осеннем балконе, попиваю дымящийся чай, смотрю на сады и на крыши, на рыжую линию дальнего леса, на небо, уже поменявшее розовый утренний свет на дневной, голубой – и думаю: а ведь то, что в руках у меня чашка чая, которую я могу пить, никуда не спеша – ведь это же настоящее чудо! Сколько всего должно было сойтись и совпасть, случиться – или, наоборот, не случиться – уравновесить друг друга, поймать миг гармонии в этом негармоничном, куда-то всё время несущемся, мире – чтоб я неспешно сейчас поднимал эту синюю чашку, подносил бы к губам, ощущал во рту терпкую горечь, а после смотрел бы сквозь марево чайного пара на зубчатую, рыжую линию дальнего леса…

 Во-первых, должно быть всё более-менее ладно в семье и во всём нашем доме. Родители, дети, жена должны быть здоровы, никакие серьёзные неполадки и ссоры не должны омрачать нашу жизнь, соседи должны быть дружелюбны – а такие спокойные дни, как вы понимаете, выпадают не так уж и часто. Во-вторых: там, где я работаю, не должно оставаться тяжёлых, неясных больных – да ещё, не дай Бог, с осложнениями после моих операций. Какое уж там спокойное чаепитие, когда мысли всё время – в больнице?

 Но, допустим, в семье и в больнице наступило временное затишье. А всё ли в порядке в твоём старом доме? Не засорилась ли фановая система, не завоздушился ли отопительный контур, не капает ли с потолка конденсат, не прохудились ли водопроводные трубы? А ведь дом-то давно уж немолод – он ровесник мне самому – и болеет почти так же часто, как и любой пожилой человек.

 Вот ещё, кстати, помеха спокойному, неторопливому чаепитию: собственные болезни. С одной стороны, на здоровье грех жаловаться – на шестом-то десятке я ещё, кое-как, трепыхаюсь – но, с другой стороны, я давно позабыл то счастливое время, когда о здоровье не думалось вовсе.

 Да ладно здоровье – о нём, в конце концов, можно какое-то время не думать – а как быть с совестью? Разве можно спокойно пить чай, наслаждаясь прозрачною ясностью осени – когда неспокоен «когтистый зверь, грызущий сердце – совесть»? А ведь совесть-то, по-настоящему, никогда и не может быть ни спокойной, ни вполне чистой – потому что все мы в грехах, как собака в репьях.

 Вот и получается, что возможность спокойного, неторопливо-блаженного чаепития стремится к нулю. Рассуждая логически, оно просто-напросто невозможно; а, когда оно всё же случается – это и есть настоящее чудо.

 Но давайте посмотрим на чайное чудо ещё и с другой стороны. Как много трудилось людей для того, чтобы чашка горячего чая дымилась сейчас перед тобой! Это и сборщицы чая где-нибудь на плантациях Индии или Цейлона, и рабочие чаеразвесочных фабрик, грузчики и водители автомобилей, это железнодорожники и продавцы магазинов – и ещё множество разных людей. А те, кто построили дом и вот этот балкон – разве они не вложили свой труд в сегодняшнее чаепитие? А гончары, что слепили вот эту чудесную чашку? А те, кто стоят, так сказать, на страже чайного ритуала: полицейские и коммунальщики, энергетики и дежурные доктора, управленцы и пограничники, и разные там губернаторы или министры – словом, вся королевская рать? Как подумаешь – чуть ли не всё человечество потрудилось иль трудится в эту минуту, чтоб ты мог неспешно и благостно выпить вот эту свою чашку чая.

 И как же не быть благодарными людям за то, что они подарили? Как не ценить этот дар, как не чувствовать: чашка чая, которую ты сейчас держишь в руке – есть, так сказать, фокус жизни во всех смыслах слова? И фокус, как некое чудо, которого не должно было быть, но которое всё же случилось; и фокус, как точка схождения множества сил, интересов, надежд и энергий.

 Так что, когда вам захочется чуда, не стоит ходить далеко: чудеса всегда рядом. Хоть эта вот чашка с дымящимся чаем – хоть вообще всё, что угодно, на что только упал ваш внимательный взгляд: это всё чудеса, которых, сказать откровенно, и быть не должно, но которые всё же случились внутри того главного чуда, которое называется – жизнь…

 ГОЛОДНЫЕ ПОХОДЫ. Вообще-то, мы только их так называли – «голодные», то есть без запаса еды в рюкзаках – а на самом-то деле редко когда удавалось поесть с таким наслаждением, как в этих самых «голодных» походах.

 В них еду воспринимаешь особо: как милость, которою нас одарила дорога. Что бы ни подвернулось – гроздь ли горькой рябины, куст спелой смородины или калины, молодой кукурузный початок, земляничная россыпь в сосновом лесу, горсть липовых почек или сладкое корневище рогоза – ты всему этому радуешься, словно ребёнок подарку. Да и сам превращаешься, на это время – в ребёнка. Ты с таким любопытством рассматриваешь, ощупываешь, нюхаешь, пробуешь очередной дар дороги на вкус – как бывало лишь в раннем детстве, когда ты познавал мир непосредственно: через его вкус, запах, форму и цвет. Это уже потом пришло время абстракций, умственно-отвлечённых понятий о мире; но абстракции порой напоминают замороженные продукты в пластиковых упаковках, те, что лежат в супермаркетах: через их целлофановый холод трудно почувствовать цвет, вкус и запах живой, настоящей еды.

 В этом смысле голодный поход – это встреча с реальностью безо всяких посредников: так сказать, носом к носу. Уже ради этого – то есть освежения в себе самом чувства жизни – стоит странствовать с полупустым рюкзаком. Обычно мы брали с собой только чай, да немного овса и изюма: чтобы подстраховаться на случай какой-нибудь крайней бескормицы.

 Но встреча с реальностью, о которой я здесь рассуждаю, порой требует и труда, и терпенья. Разве просто поймать, а потом запечь в углях змею? Да пока нажжёшь сами угли, сойдёт семь потов. Или, шаря руками по илистой отмели, стоя по пояс в воде, собирать пресноводных перловиц или беззубок? А надирать ленты липовой заболони, потом крошить их ножом мелко-мелко – иначе не прожуёшь – и часа полтора варить суп из коры? А собирать чернику или бруснику – когда комаров вокруг столько, что ближайшие кочки, кусты, сапоги и свои распухшие руки видишь в каком-то звенящем дыму? А выдирать корневища рогоза – ощущая, как под ногами зыблется, чавкает и пускает болотные газы трясина?

 Но всё равно, как бы ни было трудно – эти хлопоты по добыванию пищи были некой игрой, в которую ты играл с детским, давно уж забытым, азартом. Возвращенье к ребёнку в себе – было главным, что ты находил в этих самых «голодных» походах.

 Не забудем и то, что вместе с движением к личному детству – ты приближался и к «детству» всего человечества. Ведь то собирание разных плодов и кореньев, моллюсков и листьев, ягод, зёрен и почек, которым ты занимался в походе – было именно тем, чем, на самой заре человечества, занимались и первобытные люди. Ещё прежде того, как они научились рыбачить или охотиться – или, тем более, возделывать землю – они просто-напросто собирали то, что им дарил мир. Наверное, и Адам со своею лукавой подругой, когда были выдворены из Эдема – стали шарить в траве или листьях деревьев, отыскивая что-нибудь на пропитание.

 Но ведь это же значит, что мы, собиратели, как бы двигаясь вспять по пути человечества и приближаясь к его, человечества, «детству» – тем самым становимся ближе и к раю. Нас больше не отделяют от него те препоны и стены, которые воздвигла цивилизация; собирая плоды и коренья, мы слышим дыхание райских садов – потому что живём в это время вот именно тем, что Бог дал…

 ГОРОХОВЫЙ СУП. Приходилось ли вам есть настоящий гороховый суп? Может статься, и нет: потому что такой суп готовят в немногих, особых местах.

 Я всегда удивлялся: почему никакой из супов, что мне доводилось поесть, не шёл ни в какое сравнение с тем гороховым супом, которым меня, как дежурного доктора, кормили в больнице? Все иные супы – в том числе, и гороховые, но «небольничные» – были, словно бледные копии с оригинала, дышавшего жизнью и силой. Такой густоты, аромата и вкуса, как в больничном гороховом супе, нельзя было встретить нигде: ни в гостях и ни дома, ни в простецких столовых, ни в дорогих ресторанах.

 Но вот как-то раз судьба занесла меня в крымский посёлок Вилино. В центре его располагалась столовая: там кормили сезонников, приезжавших на сбор винограда. И вот сижу я в полупустой столовой, попиваю вино прошлогоднего урожая – и жду, когда будет готов мой любимый гороховый суп. Спешить некуда – в Крыму вообще торопиться нельзя – и я с интересом разглядываю, как за стойкой раздачи, отделяющей залу столовой от кухни, меж огромных кастрюль неторопливо и важно проплывают грудастые поварихи. Вот одна из них сняла крышку кастрюли – взлетел, клубясь, пар – и, помешивая шумовкой, стала что-то высматривать в недрах бурлящего варева. Судя по запаху, это и был долгожданный гороховый суп. Но странно: над рыжим, бугристым, клокочущим озером супа время от времени появлялись два треугольных плавника. Можно было подумать, что в супе гоняются друг за другом акулы. «Что за диво?» – недоумевал я. И вдруг повариха, засучив рукава, ухватила сначала один, а потом и другой треугольник – и, натужась, потянула их из бурлящего варева.

 Я подумал, что брежу: из недр клокотавшей кастрюли, словно подлодка из океанских глубин, всплывала громадная, страшная морда свиньи! Волны супа стекали с её оскаленного рыла, оставляя кружки моркови и лука на кожистых складках – а звериные глазки смотрели пронзительно-злобно…

 Повариха, кряхтя, перебросила эту громадную голову в эмалированный таз, отёрла лоб тылом ладони и крикнула мне:

 - Ну что, суп-то есть будешь?

 И вот уже я, вместе с тарелкой густейшего и ароматного супа, нёс от стойки раздачи и разрешенье давнишней загадки. Теперь-то я знал, почему лишь в огромных больничных котлах – да в кастрюлях такой вот столовой – гороховый суп получается так наварист и густ. Ибо где ещё можно сварить – целиком! – свиную голову, которая и превращает обычный гороховый суп в кулинарный шедевр?

 ГРИБНАЯ РАДОСТЬ. Тема грибов начинается в сумраке леса, с треска веток под сапогами, со шмыганья разных там мышек-лягушек в ногах, с паутины, которая липнет к лицу, и с бродильного запаха лиственной прели, чем гуще который – тем больше шансов вот-вот набрести на грибы. А тут ещё космы лишайников и нашлёпки зелёного мха на стволах, и далёкие крики: «Ау-у!» – и огненный куст бересклета, который заставил тебя обойти вкруг него, любуясь на алые ягоды-серьги и розово-полупрозрачные листья.

 Но недаром же то, чем ты занят сейчас, называют «грибная охота». Желание найти гриб нарастает в душе с такой силой, что первый сегодняшний боровик появляется, кажется, даже не столько из вороха рыжей листвы возле старого пня – сколько именно из твоего желания отыскать его. Словно вспышка, округлая бурая шляпка на миг ослепляет – ты содрогаешься, как от удара – а потом со счастливой улыбкой падаешь перед грибом на колени…

 Можете, если угодно, смеяться, но в этом тягостном, всё нарастающем напряжении поиска, затем краткой вспышке-разрядке, что вдруг сменяется приступом слабости – в этом есть нечто почти эротическое. Во всяком случае, я нередко встречал в лицах молодых женщин, выходящих с полной грибною корзиной из леса – такое счастливое изнеможение, словно они только что предавались любви, а не просто искали грибы.

 Но мы отвлеклись. Грибная охота – ещё не кулинария (а пишем мы именно кулинарный словарь), но всего только подступы к ней. Пропустим, пожалуй, и то, как мы – еле живые, в поту, в паутине и лиственном соре – вышли из леса (сделав пару вёрст крюку, до крови сбив ноги, но всё же не бросив корзину с грибами), пропустим то, как потом до полуночи всей семьёй перебирали грибы, и как всё в квартире пропахло грибным духом – и приблизимся сразу к столу, на котором, средь прочих закусок, стоит миска солёных груздей.

 Да, внешне они неказисты. Даже сахарно-белые кольца лука, которыми сверху присыпаны эти буро-зелёные ломти, даже горка сметаны, белеющей на краю грибной миски – не очень-то добавляют им привлекательности. Грузди кажутся вялыми, сонными – и не скажешь, взглянув на них мельком, что это одна из прекрасных закусок. К тому же, осклизлые эти лепёшки так и норовят ускользнуть из-под вилки, которою ты, раздражаясь всё более, тычешь в грибную тарелку. Не хватало ещё – как порой и бывало – неловким движением вытолкнуть скользкую эту лепёшку на стол, и потом, чертыхаясь, ловить на испачканной скатерти груздь, который – ах ты, зараза! – уползает всё дальше и дальше, скрываясь то за бутылкой «Столичной», то за гранёною вазочкой с винегретом. В конце концов – ну, не мерзавец ли? – гриб прыгает на колени красивой соседке, которая охает – и, скорей всего, с этой минуты тихо возненавидит тебя…

 Но допустим, что всё обошлось, и ты загарпунил груздь тяжёлою вилкой с пожелтевшим от времени костяным черенком. Теперь аккуратно зачёрпываем сметану: чтобы она покрывала половину гриба. Пока произносится тост и выпивается – залпом, на выдохе! – рюмка ледяной водки, сметана никоим образом не должна капнуть с гриба, а должна вся, вместе с груздем, оказаться на твоём языке, опалённом холодною водкой.

 И вот тут для груздя настаёт его звёздный момент. Ух, как он захрустел, брызнул соком, как упруго затрепетал на зубах – как солёной волною обдало гортань – и как ты, не в силах сдержаться, застонал, замычал, замотал головой! По тебе словно вдруг пропустили электрический ток: ты помолодел лет на десять, и глаза твои вновь загорелись азартною радостью жизни.

 Ну, что – по «вторительной», как говорил один мой знакомый? Тем более, гости, похоже, раскушали грузди: миска с ними пустеет стремительно, и, если будешь зевать – то придётся закусывать традиционной селёдкой.

 ГРУШИ СТАРЫХ САДОВ. Бывало, бредёшь в одиноком походе – и заходишь в какой-нибудь старый заброшенный сад на окраине тихой деревни. Здесь-то, думаешь, и пообедаю: тем, что найду под деревьями, да натрясу с узловатых ветвей. Вон стоят две полузасохшие яблони, чуть поодаль – несколько слив, окружённых густой юной порослью; но взгляд привлекает, конечно же, груша – высокое статное дерево, редкое в наших калужских краях. Сейчас ранняя осень, и груша очень красива. Багрянец листвы отливает то синевою, то медью; желтовато-зелёные грушки висят высоко – не достать – впрочем, эти, высокие, нам пока и не нужны. Вполне обойдёмся и паданкой: тем, что лежит меж корней, под шуршащей багряной листвой – испуская дурманящий винный запах.

 Похоже, не я один люблю падшие груши: вон, сколько ос вьётся под деревом! Их гудение, их полосато-клубящийся танец всегда воскрешает далёкое детство, когда я увлекался изучением ос, и когда книга Фабра «Жизнь насекомых» была для меня интереснее любых сказок. Надеюсь, что и сегодня, в память о былой дружбе, они со мною поделятся грушевым сладким обедом.

 Первым делом снимаю рюкзак, разминаю затёкшие плечи – а уж потом опускаюсь на корточки и начинаю искать в траве самые сладкие, полу-сопревшие груши. Трудно даже сказать, что же именно заключено внутри их бурой потрескавшейся кожуры – каким словом назвать эту крупитчато-сочную, бурую мякоть? Это не то забродивший компот, не то грушевое варенье, не то вино – сладкое, очень душистое и даже немного хмельное. Стоит выдернуть из невзрачной коричневой груши её черенок – он отделяется с чмоканьем, словно пробка бутыли – и мякоть груши начинает дразнить тебя терпким, хмельным ароматом. Эти сладкие груши не столько жуёшь, сколько именно пьёшь – глоток за глотком поглощая вино опустевших осенних садов…

 И сейчас я прошу своего двойника, который уселся под деревом и, отгоняя вьющихся ос, поедает душистые груши: пожалуйста, не торопись! Когда ещё выпадет вот такой же пронзительный день, состоящий из золота листьев и синевы предосеннего неба? Когда ещё ты посидишь на жухлой траве, созерцая и ос, и деревья осеннего сада – и слыша протяжный крик петуха из соседней деревни? И когда ещё вон тот лунь, что, раскинув белёсые крылья, кружится над садом – будет тебе так же близок и так интересен? Ты следишь за парящею птицей, лунь следит за тобой – и вы оба, созерцая друг друга, образуете как бы ось всего дня, на которой вращается всё его золото и синева…

 Нет, всё же груши хмелят: трезвому взгляду навряд ли всё то, что он видит, покажется столь же таинственно-непостижимым. И эти деревья, и осы, и космы пожухлой травы, и твоя собственная ладонь, на которой лежит эта бурая груша, в разломе которой искрится коричневый сок – что всё это значит, чего ждёт от тебя, и что хочет тебе объяснить? Но, боюсь, если я даже съем все груши этого сада – мне и тогда не приблизиться к тайне того, чем, на самом-то деле, является эта душистая груша, которую я держу на ладони…

 ГУСИ. Вот сейчас, написав слово «гуси», я собрался порассуждать о гусе рождественском: о запеченных в нём яблоках, о коричневой корочке, чуть приставшей к жаровне и оттого ещё более вкусной, о гузках и крыльях – обо всём, словом, том, что так нравится нам смаковать за рождественской трапезой.

 Но вдруг вспомнилось совершенно иное – и перо побрело по другому пути. Я вспомнил холмистую курскую степь, блестящий внизу, под холмом, пруд-ставок – и гусиное стадо, вразвалку ковыляющее на водопой. Дорога спускается по косогору, и над ней дрожит марево – сквозь которое всё кажется зыбким и призрачным. Только резкие крики гусей сопротивляются зною: если б не этот бодрящий отрывистый рёгот, можно было б совсем одуреть от жары.

 Гусям, видно, тоже невмоготу. Время от времени кто-то из них, вытянув шею, бьёт крыльями – но от этого никому не становится легче, и только горячая пыль завивается над косогором. И тут вожак – грузный, серый, огромный – принимает решенье лететь. Шлёпая лапами, он разгоняется – и за ним, регоча, припускает всё стадо. Вот громадные птицы, одна за другой, начинают распахивать крылья, гнать ими пыль – и, уже в облаке пыли, продолжается полу-бег, полу-лёт всполошённой гусиной станицы.

 Поразителен этот порыв, этот бунт – против косной, мучительной тяжести жизни! Кажется: грузные птицы, чьи гузна почти волочатся в пыли, давно позабыли свободу и радость полёта, и нет в мире сил, что способны поднять их на крыло. Но, видно, позор несвободы страшнее: и гуси, как им ни тяжко, стараются всё ж оторваться от пыльной земли – по которой всё чаще хлопают их могучие крылья…

 Наконец вожак поджал лапы, и его серая туша уже низко-низко летит над землёй! За ним оторвался другой, третий – и вот уж всё стадо, шумя словно буря, несётся над косогором. Кажется: окажись на пути этих птиц – тебе снесут голову их громадные крылья. И вот уже гуси – быстрее, чем ты сумел описать их полёт – стали падать на зеркало пруда. Они, словно бомбы, разбили-разбрызгали воду – и ещё долго над взбаламученным прудом стоял торжествующий, радостный рёгот гусей…

 ДАР БОРОВСКА. Этот дар был вручён нам троим: мне, Виталию и Валере. Мы приехали в Боровск октябрьским пасмурным утром – и, направляясь в Пафнутьевский монастырь, шли от автостанции в сторону храма Бориса и Глеба. Вдруг, в одной из подворотен, я увидел стоявшую на асфальте непочатую водочную бутылку. Немного посомневавшись, мы всё-таки взяли бутылку с собой. Хозяина всё равно нигде видно не было – и, если б не мы, так следующий прохожий непременно б её прихватил. Всё, в конце концов, решили слова, которые произнёс кто-то из нас: «Это нам подарок – а от подарка отказываться грешно».

 Мы продолжили путь: мимо храма Бориса и Глеба, затем по мосту над Протвой, а затем по дороге вдоль поймы, откуда были видны купола и кресты храмов древнего города. Поднявшись к погосту села Роща и оттуда ещё раз полюбовавшись на Боровск, мы стали спускаться в долину реки Истерьма, к белеющим среди сосен стенам и башням монастыря. Нашли отца Зосиму, знакомого нам молодого монаха, затем отстояли долгую службу – а потом, в пустующей келье, куда нас Зосима определил на ночлег, мы решили достать найденную нами бутылку.

 - Вот, отец Зосима, сомневаемся: можно ли её употребить? Не отравиться бы: мало ли, что там налито…

 Зосима разрешил наши сомнения самым решительным образом.

 - Ставьте бутылку на стол, маловеры! Я её о т ч и т а ю .

 - Как это?

 - По-нашему, по православному. Против силы молитвы никакая отрава не устоит.

 И он, осенившись крестом, стал громко читать 90-й псалом.

 - …Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго…

 Чуть не волосы дыбом вставали от гудения царственных слов, от их звука и смысла, от их торжествующей мощи.

 - …На руках возьмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу свою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия…

 В молчании, что наступило, когда псалом был дочитан, даже бутылка, стоявшая посередине стола – и та, казалось, тихонько звенела: словно молитва физически действовала на неё.

 Стоит ли говорить, что после «отчитки» мы смело разлили бутылку на четверых? Зосима, подняв свой стакан, произнёс:

 - Ну, что: пост закончился – выпьем же, чтоб не впадать в грехи более тяжкие. Слава Те, Господи!

 ДЖИМБОЛОС. Джимболос – есть такое чудесное крымско-татарское слово. Оно означает подбор винограда уже после того, как прошли сборщики, срезали большую часть урожая, с плантации сняли охрану – и на виноградник теперь может зайти каждый, кому это не лень.

 Нам было не лень – когда мы спускались с хребта Эчки-Даг и видели, как внизу, на небольшом винограднике, прилепившемся к склону, десятка полтора сборщиц уже садятся в тракторную тележку, и как затем старенький «Беларусь», фыркая синим выхлопом, увозит их по дороге на Щебетовку.

 - Джимболос, джимболос! – радостно восклицал мой двенадцатилетний сын Димка, кидаясь к рядам виноградных шпалер.

 Курчавые, жёсткие, рыже-зелёные виноградные плети только на первый взгляд были пустыми. Если нагнуться, пошарить в листве – можно было найти тяжёлые бледно-зелёные конусы, в которых ягоды были сбиты так плотно, что каждая гроздь напоминала кукурузный початок. Их и приходилось кусать, как початок, не отделяя ягоды одну от другой: при этом сладчайший сок брызгал на щёки, на руки, на грудь – и скоро все мы оказались засахарены с головы до ног. Такого сладкого винограда никому из нас прежде есть не доводилось.

 - Это технический сорт, - пояснил Дим Димыч Марков, знаток Крыма и виноделия. – Он идёт на десертные вина.

 Но мы и без вин уже были словно хмельными: и от нежданного угощения, и от полынного воздуха Крыма, и от тех видов, что нам открывались со склона. С одной стороны поднимались морщинисто-бурые волны хребта Эчки-Даг, сухие и древние, как лицо старика – а с другой стороны мерно накатывали на берег фиолетово-чёрные, в белых прожилках пены, тяжёлые волны Эвксинского Понта.

 - Смотрите, дельфины! – завопил Димка, показывая рукой вдаль.

 Мы всмотрелись. Действительно, по морской зыби катились округлые, чёрные спины дельфинов. Не сам ли – подумалось – бог Посейдон нёсся на этих колёсах: стремительных, гладких, бесшумных? Вообще, ощущение, что мы оказались в Элладе – оно укреплялось едва ли не с каждой минутой. И сухие, кремнистые склоны холмов, и курчавая вязь виноградника, и ритмичные вздохи прибоя – а тут ещё и замелькавшие спины дельфинов – всё было античным и, значит, родным. Все мы, в сущности, родом из Греции, из античных камней и сыпучего треска цикад, из бодрящего зноя Эллады. Вот и виноград, что мы подбирали на склонах хребта Эчки-Даг, был тоже античным: каким-то немыслимо древним – и, в то же самое время, таким молодым и живым…

 Продолжение дня было тоже прекрасным. К вечеру мы добрались до Судака, и заночевали в гроте меж Генуэзскою крепостью и Новым Светом. Смеркалось по-южному быстро; шум шоссе наверху затихал, зато нарастал шум прибоя внизу – там, где море вздыхало и пенилось в бурых камнях. Надвигалась гроза. Хорошо, что мы знали о гроте – и успели залечь в его щель ещё до того, как обрушился ливень.

 Всё, что мы видели из расщелины грота – скалы, море и мыс Меганом – исчезло за белой кипящей завесой. В частых промельках молний казалось, что струи воды не срываются вниз со скалы – а возносятся вверх. Стало ясно: сегодня из грота мы больше не выйдем.

 - Ну, что ж: будем ужинать! – распорядился, по праву старейшего, Дим Димыч. – Доставайте, что там осталось от джимболоса.

 Буханку мягкого белого хлеба, купленного в Судаке, мы разрезали на четверых, и раздали каждому по тяжёлой кисти сладчайшего винограда. Свежий, с кислинкою, хлеб и виноградные сладкие ягоды так подходили друг другу, словно они были чем-то единым. Помнится, мы поглощали свой ужин в молчании, наслаждаясь им – и прислушиваясь к грозе. Вспышки молний выхватывали из темноты нас, четверых сотрапезников, в отчётливо замерших позах – вот чья-то рука, вот кус хлеба, вот зубы, что впились в гроздь винограда – как будто гроза решила нас сфотографировать в декорациях крымского скального грота, чтоб мы отпечатались в вечности. И – кто знает? – может, и впрямь эти снимки доселе хранятся в каком-то вселенском архиве?

 ДИМЛАМА БУХАРЫ. Положа руку на сердце, должен сказать: я нигде не встречал столь же вкусной еды – как в Средней Азии. Вот даже не знаю: какое из тамошних кушаний взяться описывать? Может, плов, что я ел в Самарканде, за задворках парадной площади Регистан: золотистую гору из риса, моркови, гороха – на склоне которой лежал кус говядины? Или вспомнить ту ошхану на базаре Ургенча, где я объедался тушёными потрохами, столь вкусными, что я позабыл всё на свете – даже то, что мне пора ехать в Хиву? А лагман в Навои? А самса в Шахризабсе? А шашлык в Гиждуване? А ташкентский люля-кебаб?

 Нет, лучше вот что: вспомню-ка я димламу Бухары. Я только-только приехал, поселился в старинном доме Мубиджона-аки – дому было двести семьдесят пять лет, а хозяину семьдесят пять, но оба казались на редкость сохранны – и пошёл поискать, где бы перекусить. Подходящая ошхона подвернулась неподалёку, на берегу Ляби-Хауза: бухарец сразу поймёт, о чём я говорю. Из блюд, что мне были предложены, я выбрал шурпу – душистую, в блёстках янтарного жира – но всё же посетовал:

 - Досадно: вторую неделю нигде не могу найти димламы!

 Хозяйка всплеснула руками:

 - Что вы говорите! А приходите-ка завтра, вот в это же время – я приготовлю для вас димламу.

 На том и расстались. И, стыдно признаться, но на другой день свидания с димламой я ждал так – как, бывало, ждал встречи с какой-нибудь юной красоткой. С утра маялся и не знал, куда себя деть. Сходил в баню, что на Зелёном базаре, напился там чаю, потом листал книги в букинистической лавке, потом рассматривал украшения из фирюзы на лотках ювелиров – но мысли мои были всё об одном: «Как там моя димлама?»

 Наконец настал час обеда. Хозяйка, приветливо улыбаясь, поставила передо мной на клеёнчатый стол синий чайник кок-чая, тарелку с тандырной лепёшкой, пиалу с густым, ароматным говяжьим бульоном – и, наконец, глубокую синюю миску, в которой дымилась гора димламы.

 Всё это было очень красивым: так сказать, ориентально-орнаментальным. Узоры тарелки, пиалы и миски, горячая пряная смесь димламы, витиевато-однообразная музыка, что доносилась в открытые двери от Ляби-Хауза, перестук молотков от ремесленных лавок, крики разносчиков – всё сливалось в единую арабеску, в орнамент из перетекавших друг в друга узоров, как зрительных, так и звуковых.

 Но, когда я взял ложку и стал понемногу зачёрпывать димламу – я впал в забытьё и почти перестал понимать: где же я нахожусь? Мир, такой пёстрый и звучный, куда-то пропал – а осталась одна димлама. И сейчас из той трапезы я могу вспомнить только фрагменты. То лист капусты на ложке, то пятно солнца на рыжей клеёнке стола, то взгляд весёлой хозяйки, украдкой следящей за тем, как я ем, то тёплая мякоть лепёшки, которую я отрываю…

 Но разделение мира на эту вот пёструю смесь, оно происходило вовсе не от его, мира, ущербности – а, напротив, от изобильной его полноты. Окружающий мир был настолько богат, изобилен и щедр – что любая частица его представляла собой как бы тоже особенный, яркий и радостный мир. А уж димлама – та и вовсе казалась мне целой вселенной. Чего только не было в этой пёстрой, сочащейся груде: морковь и капуста, картофель и перец, куски мяса и жира, какие-то, мне неизвестные, специи – и всё это, словно живое, вздыхало и двигалось, когда ложка перемешивала димламу. Казалось, из этой вот яркой и пламенной смеси, томящейся в миске, можно создать ещё один мир – подобный тому, что уже сотворён.

 Но, как я ни восхищался лежащей передо мной димламой – я азартно и жадно, мыча от восторга, её поедал. Я не мог удержать свою руку и ложку, не мог не жевать, не глотать – и, увы, димлама убывала. Ложка всё чаще стучала о дно, и сердце сжималось: я чувствовал словно вину пред этим вот блюдом, которое я торопливо уничтожал… Из-за стола я встал с таким грустным видом, что хозяйка даже встревожилась:

 - Вам не понравилось? Что-то было не так?

 Но как было ей объяснить, что, напротив, её димлама оказалась столь хороша – что, когда она кончилась, мне стало очень печально? Я, как мог, успокоил хозяйку и расплатился – её кулинарный шедевр, как и вся еда в Азии, оказался на удивленье дешёвым – а потом вышел на улицу, на палящее солнце и пыль Бухары. Печаль сытости мало-помалу меня отпускала – той порой, как я брёл по глиняным улицам, меж саманных дувалов, тандыров и кузниц; но мне ещё долго мерещилась синяя миска, в которой дымилась гора димламы…

 ДОБАВКА. Такое знакомо, наверное, многим. Только сядешь к обеденному столу, распробуешь какое-нибудь, особенно нынче удавшееся, любимое блюдо – овощное, к примеру, рагу или макароны по-флотски – и вдруг почувствуешь шевеленье неясной тревоги. Что-то мешает тебе наслаждаться едой безмятежно, что-то царапает душу и наполняет её почти страхом – глубинным, подспудным, но всё-таки страхом пред будущим. И почти машинально, сам не успев осознать, что с тобой происходит, спрашиваешь хозяйку – причём спрашиваешь каким-то заискивающим, именно что испугавшимся, голосом:

 - А добавка есть?

 Она улыбнётся тебе, как ребёнку – и, утешая, ответит:

 - Есть, есть – не бойся…

 И как груз упал с плеч: сразу стало спокойнее, легче – словно развеялась некая мгла впереди. Может, это смешно, но для меня без добавки – и обед не обед. Причём совершенно не важно, велика ли она – но добавка должна обязательно быть, чтобы страшная истина «скоро конец» (а она ведь маячит почти за каждым явлением жизни, да и за всей жизнью в целом) была хоть немного прикрыта, замаскирована существованьем добавки.

 По сути, надежда на то, что к трапезе будет добавка – есть надежда на нечто большее, чем просто-напросто продолженье еды. Ожидая добавки, я смутно надеюсь, что земной наш конец ещё не конец, и тогда, когда он настанет – явится щедрая и милосердная чья-то рука, и предложит нам некое продолжение жизни: уже после того, как она завершилась. Можно сказать, мы и живы-то только надеждой на то, что в пустыне грядущего нам будет явлено нечто отрадное, то, ради чего нам и стоит терпеть эти тяготы жизни. Мечта о добавке – надежда на то, что дары бытия бесконечны.

 А можно на всё посмотреть и с другой стороны. Вот сейчас, живя свою жизнь, я уже получаю добавку, и должен быть благодарен судьбе. Ведь мой путь, в общем, пройден: позади тридцать лет хирургии, позади путешествия, позади целый воз семейных забот и трудов – позади, словом, жизнь. Можно было б уйти и сейчас – как говорил один герой Достоевского, больше сорока лет живут только конченные мерзавцы – но так уж случилось, что мне выпала некая как бы добавка: жизнь после прожитой жизни. Что, как не добавка – и то, что я слышу агуканье внучки Анюты (ей на днях исполнился месяц), и то, что я до сих пор могу размышлять вот над этой, пестрящей помарками, рукописной страницей?

 ДЫНЯ. Выбор дыни на рынке – процесс, доставляющий радости чуть ли не больше, чем её поедание. Сам выход за дыней – уже праздник: особенно в августе, в ту изобильную пору, когда за зелёными горами полосатых арбузов почти не видны кепки их продавцов, а запах дынь, персиков, груш, слив и яблок затопляет ряды гомонящего, шумного рынка.

 Рынок в августе – торжество земледелия. Всё, что может дарить нам земля – как калужские, местные супеси или суглинки, так и южные чернозёмы – всё лежит на лотках и прилавках, всё радует глаз живописным разнообразием. Чего стоят одни помидорные алые груды, или холмы разноцветных, словно светящихся, перцев, или снопы пряно пахнущей зелени – укропа, петрушки, кинзы, базилика и рукколы – меж которыми бродишь, как в райском саду? А вёдра вишен? А банки смородины – белой, красной и черной – при одном виде которых рот уже полон слюной?

 Но сегодня нам нужны именно дыни. Поэтому, не отвлекаясь на прочие искушения и соблазны, мы будем искать дынный ряд. Ага, вот и он – здесь мы, пожалуй, задержимся. Выбор дыни, как и служение музам, не терпит суеты; поэтому надо сначала прийти в себя, настроившись на созерцательно-благостный лад.

 Главный помощник при выборе дыни – конечно же, нос. Зрение зачастую только мешает, отвлекая на мелочи и пустяки; но всего больше мешает сейчас продавец, суетливый и масляноглазый, который назойливо суёт тебе дыню в руки, восклицая:

 - Командир, возьми эту! Ай, хороша – потом скажешь: спасибо, Ахмет!

 Приходится остановить его:

 - Не мельтеши.

 Ахмет обиженно замолкает – и вот теперь, наконец, можно спокойно взять дыню в руки, понянчить её, как младенца, и подержать возле лица. Да, запах есть – но он сыроват, ещё с зеленцой: значит, дыня незрелая. А вот у этой, которую ты взял следом – наоборот, ощущается переспелая вялость. А третья – так та вообще лишена всякого запаха; её-то, кстати, и предлагал мне Ахмет, в масляных глазках которого обида сменилась на уважение: мало кто выбирает дыню так кропотливо, как это делаю я.

 Приходится перенюхать чуть не два десятка разнообразных дынь – больших и маленьких, золотистых и зеленоватых, шершавых, как пятка, и гладких, как камень-голыш – пока, наконец, не почувствуешь как бы толчок изнутри, и внутренний голос не скажет: «Да, это она!»

 Вообще, мир запахов – удивительный мир, и о нём об одном можно писать целую книгу. Недаром пророк Магомед говорил: «В земной жизни больше всего я любил женщин – и ароматы». Вот и дынный, такой сладковатый и тёплый, податливый запах чем-то напоминает женщину: в нём есть что-то неуловимое, полное неги и обаяния – то, от чего уже не оторваться. «Да, это она…» – думал ты, прижимая избранницу к сердцу. Пусть она с виду и неказиста, с одного бока помята, а с другого зеленовата – но запах её, словно ласковый ветер, обвеял тебя и позвал за собой…

 Этим тёплым её ароматом потом будет пропитано всё: и рюкзак, в котором ты понесёшь дыню домой, и твои руки, в которых лежало шершавое, продолговатое дынное тело. Даже в салоне автобуса, который тебя повезёт на Бушмановку, люди будут оглядываться с удивлённой улыбкой: запах дыни будет их волновать – пробуждая, быть может, какие-то давние и сокровенные воспоминания.

 А дома, едва ты перешагнёшь за порог – дочка Даша радостно крикнет из комнаты, ещё даже не видя тебя: «Ура – папа дыню принёс!»

 ЗЕМЛЯНИКА. Представьте себе крутой берег Угры, летний полдень – и землянику под соснами, в редкой траве, пересыпанной рыжею хвоей. Наша байдарка только что ткнулась форштевнем в песок, мы вышли на берег, чтобы размяться – но запах нагретой смолы, земляники и хвои заставил нас позабыть всё на свете. Мы разбрелись по сосновому склону, по пятнам солнца и тени – и словно растаяли в роскоши этого полдня. Кто-то уже и упал на колени: земляники так много, что можно буквально ползти, собирая её, по подстилке из хвои.

 Кажется: то, что сейчас происходит – это какой-то счастливый и солнечный сон, это сказка, в которой мы оказались случайно и не по заслугам. Словно суровый взгляд жизни где-то за нами не доглядел – и мы неожиданно вырвались из-под гнёта реальности, ускользнули в лазейку, ведущую в рай, к земляничным полянам Угры…

 На склоне под соснами так хорошо, что случалось и задремать: прямо здесь, в неглубоком окопчике, что остался с войны. Сквозь непрочную дрёму слышен и ветреный шум в кронах сосен, и плеск переката, и гул оводов и шмелей, проносящихся, словно тяжёлые пули, над самым окопом. Эти пули шмелей, и окоп, и обрывки «колючки», и ржавые каски – фронт в этих местах стоял целых два года – напоминают, что здесь, где теперь летний солнечный рай – был когда-то и ад. «Здесь чья-то жизнь дрожала» – как сказал один хороший писатель; и крови на этих вот склонах краснело не меньше, чем нынешним днём – земляники.

 Но мысли об этом не только не гасят, а лишь обостряют твою благодарность за всё, что вокруг: за эти вот сосны, за зной безмятежного полдня, за запах смолы, земляники и хвои, который сильней всего именно там, где ты лёг – придавив своим телом полдюжины ягод.

 Земляника, которой так много – скорее всего, не отпустит нас быстро, и заставит разбить здесь бивак. Под соснами встанут палатки – шишки, падая, будут звенеть по их туго натянутым тентам – потом затрещит костерок, и его сизый дым поплывёт по-над склоном, добавляя к запаху земляничных полян горьковатую ноту.

 А ночью, когда небо над соснами будет усыпано звёздами, земляничные склоны покажут ещё одно чудо. Стоит отойти от костра и привыкнуть к потёмкам, как взгляд различит, что по склону, который спускается к тихо журчащей Угре – бледно светятся зеленоватые огоньки. В иные погожие ночи светлячков высыпает так много, что береговой склон кажется отражением звёздного неба, и ты начинаешь угадывать в зеленоватом мерцании контуры как бы созвездий. Или это – подумаешь вдруг – светятся земляничные ягоды: те, что набрали за долгий день зноя и солнца?

 Но без светлячков, как и без земляники, летний рай будет неполон; интересно, подумаешь, а в настоящем раю, куда все мы мечтаем попасть – будет ли там земляника, и сосны, и зеленоватые огоньки светлячков? Хочется верить, что всё это будет, и что нам доведётся ещё собирать землянику на солнечном склоне, под соснами, в редкой траве, пересыпанной рыжею хвоей…

 ИСЦЕЛЕНИЕ МОРЕМ. Не писать же подробно о том, как мы выпивали с Ришатом? Как тепла была крымская ночь, как звенели цикады – а море, вздыхая, шипело по гальке пологой волной?

 Портвейн же, которым нас угощал наш случайный знакомый, был просто чудесен. Густой и душистый, он пах виноградом и солнцем – и не туманил ни взгляда, ни мыслей, а как-то, напротив, всё прояснял: после пары стаканов портвейна жизнь становилась понятна, проста и тепла – как эти вот гладкие камушки, что лежат на ладони…

 Но так было ночью, пока мы сидели на галечном пляже посёлка Весёлое, пока раздавались тяжёлые, мерные вздохи прибоя, а звёзды висели над нами так низко, что их, при желании, можно было потрогать – вот только лень встать, да поднять руку к небу.

 Наутро же зябкий рассвет открыл совершенно иную картину. Туман залил всё побережье; граница не только притихшего моря и серого неба, но даже моря и берега как-то размылась; всё в тумане казалось безжизненным, плоским и серым. Причём трудно было понять: окружающий мир так размыт, удручающе сер – или это в похмельной твоей голове всё смешалось настолько, что ты видишь мир таким скучным и плоским?

 Путаясь в собственных вялых руках и ногах, я вылез из спальника – мы спали у кромки прибоя – и шагнул в воду: уж море-то, я надеялся, сможет меня освежить. Я грёб усердно, проплыл метров сто – но легче не становилось. Пологие гладкие волны вздымали меня, затем опускали – от этой раскачки лишь только сильнее мутило. Хуже всего была злая похмельная жажда. «Эх, сейчас бы рассолу…» – с тоскою подумал я.

 Вдруг меня осенило: да я же плыву в этом самом рассоле! Бросив грести и чуть отдышавшись, я сделал два полных глотка горьковатой солёной воды. Больше, я знал, пить опасно: уж что-что, а книги о кораблекрушениях я в детстве читал.

 Но и то, что я выпил, меня исцелило. Голова прояснилась, дышать стало легче, и плыл я уже не с усилием, как минуту назад, а почти с удовольствием. Больше того: я увидел, как быстро редеет туман, и как открывается берег: от мыса до мыса, до скал на востоке, откуда вот-вот должен был появиться алый солнечный диск. Поразительно, но причащение морю, которое я совершил – оно исцелило не только меня, но словно исправило весь окружающий мир, которому вновь возвращались его многоцветность, объём, глубина.

 Я плыл к берегу, ощущая себя частью моря, которое было вокруг – и чувствуя, как теперь море стало частью меня, моей собственной крови. На пёструю, морем омытую гальку я вышел – ну, если не как Афродита из пены морской, то всё же много свежее, чем был недавно.

 Как раз проснулся Дим Димыч, наш седой «адмирал» – и внимательным взглядом окинул меня.

 - Экий ты свежий – как огурец! Морем, что ли, опохмелялся?

 - Так точно! – отрапортовал я ему, и мы рассмеялись: просто-напросто оттого, что проснулись в Крыму, на морском берегу – и впереди нас ждал новый день, полный дорог, встреч и приключений.

 КАПУСТА. Из всех овощей, составляющих наш рацион, едва ли не первое место принадлежит капусте. Уж если сам Диоклетиан променял римскую власть на капустную грядку – значит, тайна капусты и впрямь велика. Это тайна, по сути, самой жизни – и, уж конечно, она много глубже всего, что связано с мелким тщеславием власти.

 Действительно: что нам римская власть? Ну её к лешему – кесарю, как говорится, кесарево. Лучше полюбоваться капустною грядкой: тем, например, как широкие бледно-зелёные листья покрыты испариной крупной росы, или как дождь сечёт по тугим кочанам, и каждый из них гудит, словно барабан – или тем, как над грядкой порхают белянки, которые любят капусту не меньше, чем любил её император Диоклетиан.

 А как приятно взять в руки тяжёлый, прохладный, поскрипывающий кочан! Он отзывается тугим хрустом на каждое пожатие рук – он словно разговаривает с тобой, подавая бодрые реплики.

 Этот хруст кочана и воспоминания пробуждает какие-то бодрые и молодые. Вот сейчас вспомнилось, как я, по наказу матери, шёл за капустой в овощной магазин на Хрустальной. Мне было тогда лет тринадцать, а день был ноябрьский, седой и хрустящий от инея. И не было лучше контраста, чем поздняя осень окраины, заиндевелая ветхость сараев, пустынных садов, водостоков и крыш – и моя молодая, горячая бодрость. Просто шагать было скучно, и я порою переходил на бег – радуясь пару дыхания, что вылетал изо рта, и упругости собственных мышц.

 Когда я подбегал к магазину – там как раз стоял грузовик, с которого и торговали капустой. Кочаны взвешивали безменом – с хрустом накалывая кочаны прямо на его крюк.

 - А откуда капустка? – спрашивала востроносая старушонка, недоверчиво мнущая и даже нюхающая кочаны.

 - Из Шопино! – отвечала ей краснолицая продавщица, сама тугая и круглая, словно капустный кочан. – Да что ты их, бабка, перебираешь? Не видишь – капуста у нас первый сорт!

 Кочаны, в самом деле, были отборные. Тугие и белые, они не просто поскрипывали, а пели – особенно, когда я положил их в рюкзак, и они, на ходу, тёрлись один о другой. Можно было подумать, что я несу в рюкзаке повизгивающего поросёнка. Прохожие даже оглядывались, и кто-нибудь, самый догадливый, спрашивал:

 - Где, парень, капустку-то брал? На Хрустальной? Надо и мне поспешить, пока не разобрали…

 Дома ждёт новая радость: засолка капусты. До чего же приятно смотреть, как большой нож, дробно стуча, обстругивает кочан – и как вспухает рассыпчатый ворох нарезанной, сочной капусты. Всегда удивляешься: как же эта гора, завалившая стол – помещалась в одном, всего-навсего, кочане? Скоро от кочана остаётся одна кочерыжка – которую мать обязательно предлагает тебе:

 - Андрюша, ты где? Кочерыжку-то будешь?

 - А как же!

 До сих пор у нас с матушкой продолжается давняя эта игра – кормленье меня кочерыжкой – и я, пожилой и седой человек, до сих пор с детской радостью принимаюсь хрустеть её сочным и сладким бруском. Ведь главное в кочерыжке даже не вкус, а вот именно бодрый и радостный хруст – от которого всё вокруг молодеет. Молодеет и утварь на кухне, и вид за окном – молодеют даже твои отец с матерью, которым сейчас нипочём не дать их действительных лет.

 А ёмкостью для засолки капусты много лет нам служил пузатый керамический бочонок. И, помнится, было очень приятно набивать его сочною смесью капусты, моркови и соли, трамбуя её кулаком – под которым хрустел и пружинил наш зимний запас. Сверху капуста накрывалась перевёрнутою тарелкой, на которую укладывался округлый гранитный валунчик. И бочонок тогда напоминал старинную пушку, заряженную, вместо пороха, нашинкованною капустой – а валунчик был вместо ядра. Что ж: бочонок капусты и был тем оружием, что нам помогало отбиться от натиска долгой, морозной зимы – и дожить до весны.

 КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУПЧИК. Жестока ли жизнь? Да она порой просто ужасна. Нет нужды перечислять все её беды и горести – тем более, всех и не перечислишь – потому что тогда ничего, кроме горьких стенаний, не ляжет на эти страницы. Причём бед и несчастий бывает полна даже самая обыкновенная жизнь – без тюрьмы и сумы, без войны – та, которую мы называем благополучною жизнью. Сколько тяжких трудов, угрызений совести, сомнений, тревог и печалей выпадает нам с вами; иногда думаешь: покажи кто-нибудь нам в начале жизненного пути, как тяжела будет эта самая жизнь – ещё неизвестно, согласились бы мы терпеть её тяготы?

 Но к чему я всё это веду? А к тому, что, при всей беспощадной жестокости жизни, при её жестяном равнодушии к судьбам любого из нас – в ней, в то же самое время, скрыт и запас доброты. И она окружает повсюду: надо только увидеть её и почувствовать, надо понять, что и живы-то мы до сих пор – лишь по милосердию жизни.

 Давайте представим: вот вы возвращаетесь в дом после трудного дня. День был именно тот, жестяной, о котором я только что говорил – он сполна дал тебе ощутить и жестокость, и равнодушие жизни. Душа словно выжжена: пепел и пыль покрывают её…

 И конечно, тебе сейчас не до еды. Но ты машинально, по многолетней привычке, достаёшь из холодильника кастрюлю позавчерашнего супа, ставишь её на плиту – и, пока она разогревается, продолжаешь терзать себя мыслями о тщете жизни. Ты так погрузился в тоску этих мыслей, что не заметил, как суп закипел и залил плиту. Чертыхнувшись, переливаешь остатки похлёбки в миску – и теперь ждёшь, пока супчик остынет. Проходит минута, другая – и ты неожиданно ловишь себя на том, что уже не терзаешься мыслями о никчёмности жизни, а с интересом ворочаешь ложкой в дымящейся миске. Всплывают и тонут кружки моркови и кольца лука, ломти картошки, блестят капли жира – и коловращение это прямо-таки завораживает тебя.

 А картофельный запах, что мреет над миской, и заставляет тебя – машинально, бездумно – но вдруг улыбнуться? Ведь он, этот запах, не просто душист и приятен; он именно что утешителен, он действует, как бормотанье какой-нибудь доброй старушки, которая, не подбирая особенных слов, монотонно и тихо бубнит, утешая тебя: ничего, мол, милок – глядишь, как-нибудь оно всё и обойдётся…

 К тому времени, как ты зачерпнёшь супчик ложкой и поднесёшь к губам его душистую гущу – ты уже будешь почти исцелён. А уж когда этой мягкой картофельной кашей наполнится рот, а затем и желудок – ты станешь другим человеком. Куда подеваются злость и тоска, раздражение и недоверие к жизни? Те острые жизненные углы, которые так тебя задевали недавно – они враз как-то сгладились. Неужели всего лишь тарелка картофельного супа смогла примирить тебя с миром – а заодно и с собою самим?

 КИЛЬКА В ТОМАТЕ. Чьё сердце не забьётся сильнее при словах «Килька в томате» – особенно, если это сердце мужчины, и оно бьётся достаточно долго, чтобы помнить ещё те, давнишнего советского образца, кильки в томате, которые стоили двадцать четыре копейки за банку?

 В пору всеобщего дефицита витрины продовольственных магазинов порой украшали одни эти консервы: пирамиды из серебристо мерцающих шайб, обёрнутых в чёрно-красную этикетку. И вообще, это был предмет символический, означавший закуску как таковую. Что изображалось, к примеру, на страницах сатирического журнала «Крокодил», когда нужно было заклеймить позором тех несознательных граждан, которые засоряют природу? Конечно, порожняя банка из-под кильки в томате – оскверняющая какую-нибудь идиллическую лужайку.

 А если требовалось изобразить типичного пьяницу – такого, у кого нос обязательно сизый – то чем он закусывал? Правильно, килькой в томате: эта закуска считалась столь же обязательным спутником пьяницы, как и гранёный стакан.

 Но ведь символом может быть нечто лишь совершенное; консервы «Килька в томате» и были таким совершенством. Уже сам размер и вес круглой банки, и то, как она укладывалась в ладонь, или соскальзывала в карман телогрейки – уже одно это пробуждало в душе неизъяснимо отрадное чувство.

 А как было приятно её открывать! Когда клык консервного, или даже простого ножа пробивал жесть – выступала аппетитная капля томатного соуса, которую непременно хотелось слизнуть. Когда же, с нажимом, взрезалась и отгибалась жесть крышки – глазам открывались продолговатые рыжие тушки, лежавшие хвост к голове. Конечно, тогда, в те далёкие годы, когда юный голод тебя торопил, ты не очень-то долго раздумывал, прежде чем подцепить пару килек (ножом, если не было вилки) и отправить их в рот. Но теперь, когда огнь желаний угас и жажда жизни утолена – можно спокойно порассуждать о консервах, как таковых.

 Ведь только подумать: вот эти рыбёшки, если бы их предоставить природе – они бы давно уже сгинули где-то в пучине морской, и пошли на корм чайкам или каким-нибудь кашалотам; они бы исчезли, как будто их никогда не бывало. А в жестяной этой капсуле они оказались изъяты из времени, сохранены: разве это не чудо?

 К тому же, консервы нередко бывают вкуснее, чем натуральный продукт. Вот и свежепойманная килька, если пожарить её – на мой вкус, проигрывает себе же самой, но в томате. То есть некая вещь, превращаясь в консервы, не только избегает тления – но ещё и становится лучше.

 Но не в этом ли – то есть в сохранении и в улучшенье реальности – и состоит задача искусства? Взять что угодно – пейзаж ли художника, или роман писателя – жизнь, что показана там, будет, во-первых, защищена от тлетворного действия времени – а, во-вторых, она, скорее всего, будет лучше, чем тот образец, с которого списана книга или картина.

 Выходит, искусство и занимается, по преимуществу, консервацией. Начиная с этого места, можно спеть целую оду консерватизму, как направлению мыслей и образу жизни; но это завело бы нас очень уж далеко от кулинарного словаря.

 Да, «килька в томате», о которой я вспоминаю – была настоящим произведением искусства. И вот тут есть один тонкий момент. Почему-то прекрасным становится только то, что уже отдалилось от нас, ушло в прошлое – а то, из чего состоит день сегодняшний, кажется мелким, неважным и недостойным внимания. Предложи мне сейчас ту самую кильку в томате, о которой я здесь вспоминаю с такой ностальгической нежностью – я, скорее всего, откажусь от такого подарка. Не сама же мне килька нужна – нет, мне нужна моя память о ней; мне нужен тот образ, тот идеал, что живёт в моём сердце – мне нужен, иными словами, я сам, как-то странно, таинственно и необъяснимо сроднившийся с этим, почти что случайным, предметом – с банкой «кильки в томате».

 Или и вправду, о чём бы не рассуждал человек – хоть о звёздных туманностях или всемирном потопе – но, если проникнуть в глубинную суть, в сердцевину его слов и мыслей, то окажется, что говорит-то он, в сущности, лишь о себе же самом? А если так, то не есть ли вот этот, как я называю его, «Кулинарный словарь» – по сути, попытка автопортрета? Из блюд и напитков, из тех обстоятельств, в которых я с ними встречался – я пытаюсь сложить ту картину, в которой надеюсь увидеть себя самого…

 КНЕДЛИКИ. Кнедлики – это забавное слово, похожее на имя какой-нибудь птахи, впервые я вычитал в книге о Швейке. И я долго воображал, что кнедлик – это нечто немыслимо вкусное. Ну, ещё бы: ведь на страницах романа Гашека герои говорят о кнедликах часто – и неизменно с любовью, доходящей до обожания. Кажется, кнедлик – символ всего, чем так дорожит человек: символ уюта, покоя и мирной, наполненной тихою радостью, жизни. В сущности, весь знаменитый роман и написан за кнедлики – против войны.

 Но реальность, как ей и положено, не оставила камня на камне от моих юных грёз о прекрасных, как девушки, кнедликах. Настоящие пражские кнедлики, с которыми мне довелось познакомиться, оказались комками серого теста, лежащими в липко-мучнистой подливе. Даже на вид они были противны – но вкус оказался ещё хуже внешности: что-то вязкое, пресное, да ещё и назойливо липнущее к зубам. Не раз вспоминал я пушкинские слова (сказанные им, правда, о калмыцком чае): «Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-либо гаже». В общем, моё впечатление от встречи с кнедликами было примерно таким: я ждал встречи с прекрасною юною девушкой, умной, изящной, веселой – а мне вместо неё привели дебелую сонную бабу с полуоткрытым ртом и оловянно выпученными глазами.

 Но нее спешите ставить на кнедликах крест. Жизнь гораздо сложнее – и милосерднее к нам, чем это кажется с первого взгляда. Пожив в Праге несколько дней, до одури находившись по её средневековым улочкам и старинным мостам – и, разумеется, выпив за эти дни столько пльзеньского, сколько в России не выпиваю за год – я стал чувствовать: чего-то мне недостаёт. И я долго не мог понять, чего именно – пока в очередной «пивнице», куда я зашёл за очередной парой кружек, не увидел, как за соседним столиком молодой парень жадно ест кнедлики. И я вдруг почувствовал, что тоже хочу съесть полдюжины вот таких вязких, непропечённых комков, которые словно замажут внутри меня некую брешь: ту, в которую тянет сквозняк беспокойства и неизбывной тревоги. Да, именно кнедликов мне не хватало – не хватало покоя, который приходит, когда неторопливо пьёшь пиво, глотая одну за другой эти сытные пломбы из вязкого теста.

 Пиво и кнедлики неотделимы от Праги – а Прага непредставима без них. Именно кнедлики, вместе с пивным хмелем, создают ощущение сказочно-бесконечного сна – в котором бредёшь, уже не надеясь, да и не желая проснуться. Кнедлики – своего рода мост в пражскую сказку: то, без чего очень сложно почувствовать неторопливо-дремотную пражскую жизнь.

 И, любя Прагу – а её нельзя не любить – нельзя не полюбить и её полномочного представителя: кнедлика. Он – как бы это сказать? – позволяет почувствовать счастье обыденности. Ведь счастье лежит на избитых дорогах: эта мысль Шатобриана очень, кстати, нравилась Пушкину. И не в том ли глубокий урок чешских кнедликов, что они словно нам говорят: слушай, да брось ты все эти дурацкие поиски, это стремление вдаль, эти мечты и надежды, в которых проходит и гаснет твоя беспокойная жизнь; счастье – оно всегда рядом. Протяни только руку – и вот пред тобою тарелка мучнистых комков, которые, хоть и не блещут красой или вкусом, но зато безотказно насытят тебя, успокоят-утешат, и никогда не обманут. И ещё – говорят они нам – с той красоткою, о которой ты, парень, вздыхаешь – ох, нахлебаешься горя; зато, может быть, будешь счастлив с дебелою доброю бабой, которая телом и сутью похожа на мягкий, податливый кнедлик…

 Чехи, я думаю, стали счастливою нацией с тех самых пор, как признали, что лучше кнедлик в руках – чем журавль в небе. А вот мы, русские, так и будем несчастны – пока будем мечтать, тосковать и вздыхать по прекрасным, всегда улетающим вдаль, журавлям…

 КОНЬЯК. Так уж случилось, что из всех видов спиртного коньяк мне знаком лучше всего: за тридцать лет хирургической практики уж чего-чего, а коньяков я перепробовал множество.

 И вот я до сих пор изумляюсь: как возникло, а затем закрепилось это чудовищное заблуждение – что коньяк, дескать, закусывают лимоном? Конечно, люди доверчивы, и убедить их можно в чём угодно, даже в том, что чёрное – это белое, и что Земля покоится на слонах или на носороге. Но лимон к коньяку – это уж, знаете, слишком!

 И вот я хочу сказать – нет, даже крикнуть – люди, опомнитесь! Вот садитесь вы в кресло с коньячным бокалом в руке – желательно, чтобы коньяк был хорошим – и, глядя, как за окном тихо падает снег (идёт дождь – тоже неплохо), дожидаетесь, когда коньяк потеплеет от вашей ладони. Это важно: холодный коньяк ещё хуже, чем тёплая водка. По окну оплывают потёки дождя или талого снега, а по стенкам бокала – коньячные «ножки», маслянисто-густые потёки напитка, который мало-помалу перенимает ваше тепло и распускается, словно цветок, облаком крепкого аромата.

 Удивительно, как всё связано, как всё рифмуется в мире: скажем, оплывы дождя на стекле – и потёки на стенках бокала; или золотистый цвет коньяка – с золотом липовой кроны напротив окна. А следом приходит и мысль, что хороший коньяк – это сгусток солнца, который донёс вот до этой минуты холодного, хмурого дня частицу полдневного зноя и света, что лился, в каком-то далёком году и в далёкой стране, на поля винограда. И вот только теперь, найдя точку гармонии между коньячным бокалом, желтеющей липой в окне, воспоминаньем о лете и тем, как наплывы дождя омывают стекло – вот только теперь можно пригубить коньяк. Душистый огонь растечётся во рту и согреет гортань – а потом мягко опустится к сердцу. И, ещё не уляжется тёплая эта волна – голова уже чуть зашумит, как бывает, когда ты выходишь из тени на яркое летнее солнце, и тебя накрывает облако зноя.

 Теперь время улыбки. Вообще, качество коньяка определить очень просто. Если, сделав глоток коньяка, ты не сморщишься, а улыбнёшься – значит, это хороший коньяк. Улыбка выразит многое – и, главным образом, благодарность напитку, который согрел твоё тело и душу, и позволил – в который уж раз! – ощутить, до чего же, при всех своих тяготах, жизнь хороша…

 Но если вы, не дай Бог, в эту минуту улыбки подхватите с блюдца и бросите в рот кислый ломтик лимона – гармонии как не бывало. Ваши губы скривятся брезгливой гримасой, вас всего передёрнет – и двери рая, которые только что приоткрылись для вас, снова захлопнутся.

 Вот поэтому я и прошу: когда пьёте коньяк – даже не прикасайтесь к лимону! Коньяк, если уж его надо закусывать (а хороший коньяк закусывать вовсе необязательно), признаёт только две настоящих закуски: ломтик дыни – или спелый персик. И дыня, и персик – они не прогонят улыбку с ваших уст, пригубивших коньяк, но продлят её и укрепят; ведь дыня и персик – такие же сгустки полдневного солнца, как и душистый коньяк, маслянисто стекающий по тюльпану бокала…

 КОРА КОДИНЫ. Кодина – река в Архангельской области, по которой мы шли с другом Лёшей; а кора – это то, что мы ели в походе.

 Река, по которой недавно вели молевой лесосплав, рыбой была небогата, и за целый день мы поймали лишь несколько окуньков. Хочешь не хочешь, надо было добывать пропитание не в реке, а в лесу. Кора – точнее, заболонь – это первое, что приходило на ум, и что раздобыть было проще всего.

 Ободрали мы, помнится, липку. Было жаль губить деревцо – но не более жаль, чем прикалывать ножом рыбу, ещё трепещущую в руке. Жизнь жестока: в ней все друг друга едят, и даже смерть не выводит нас из всеобщего круговорота еды. Вот мы съедим сейчас липку, а нами когда-нибудь станут питаться новые липки, которые будут корнями тянуть наши соки. «Так что свой долг липкам со временем мы отдадим», - утешал я себя, шинкуя ножом на седёлке байдарки сырые, упругие ленты липовой заболони.

 Думалось и о том, что кора – еда нищеты, почти голода. Если дело дошло до коры – человек на краю, у черты, за которой голодная смерть. Хотя, казалось бы: почему не питаться корой постоянно? Чем она так уж хуже какой-нибудь репы иль редьки? Да, пожёстче; да, варить её нужно подольше, чем свёклу или картошку; но по составу это те же самые углеводы, из которых состоят и любые растения. Так что, пока есть кора, и желудок способен с ней справиться (а способен ли – это мы скоро узнаем) – помирать с голодухи вроде как рановато.

 Вода в котелке забурлила, и Лёша – он у нас главный, да и единственный, повар в походах – высыпал в неё миску мелко нарезанной липовой заболони, посолил и, для навара, бросил туда же шесть окунёвых голов.

 - Вышак! – объявил он торжественно. – Через час будет готово.

 Час тянулся томительно. На реке главный способ занять чем-то время – это взять спиннинг, да побросать блесну. Я вышел к торчащим из воды сваям разрушенного моста – река меж них вспучивалась буграми – и долго пытался провести «вертушку» по самой стремнине, по мускулисто напрягшимся струям. Но блесна была слишком легка, и река выбрасывала её на поверхность. Пару раз показалось, что была хватка, но я не был уверен, что блесна просто-напросто не ударялась о сваи моста или донные камни. Кончилось тем, что блесна намертво зацепилась за сваю на самой стремнине, там, куда лезть за ней было опасно: не хватало ещё напороться на старые гвозди. Да и вода была ледяная: стоял, как-никак, конец сентября. Пришлось, натянув лесу до звона, обрывать её – и возвращаться к костру без блесны и без рыбы.

 Зато кора уже сварилась, и я с интересом стал её пробовать. Вкус её неожиданно оказался очень даже неплох. Представьте себе очень жёсткую курицу, вываренную почти до безвкусия – но с отголоском горчинки и сладости, да ещё с лёгким запахом рыбы от окунёвых голов. В общем, было не просто съедобно, но даже и вкусно. Только вот челюсти уставали жевать волокнистую жёсткую массу; хорошо, что мы её нашинковали достаточно мелко, и можно было просто глотать один кусок за другим.

 - Думаешь, усвоится? – спросил я товарища.

 - Поживём-увидим, – резонно ответил он мне. – Ну, что: ещё по тарелочке?

 Мы съели весь котелок. Чувство сытости так меня оглушило, что я едва сумел встать и побрёл искать место для сна. Сон вообще составляет важнейшую часть обеда – особенно русского. Говорят, и Лжедмитрий был уличён в самозванстве, потому что он не спал днём, после обеда – что для русского было почти кощунством. А уж в походе, устав после гребли, да набив себе пузо варёной корой – вздремнуть было необходимо.

 Лёг в мелком осиннике, чья огненная листва трепетала вверху, как ручей, непрерывно шумящий на перекате. Сон накрыл сразу: я даже не стал, как обычно, кряхтеть и ворочаться, поудобней укладываясь между корней – и вот уже, уносимый полуденной дрёмой, я видел нос лодки, с которым сближались шумящие, пенные буруны переката. Но во сне отчего-то я был уверен, что мы пройдём перекат, даже не стукнувшись килем о камни. Может, причиной такого спокойствия был именно полный желудок? Набитый варёной корою, я был словно закован в броню; что, в самом деле, могло одолеть человека, который питается липовой заболонью, а потом спит на земле – ещё и получая от этого удовольствие?

 КОРНЕВИЩЕ РОГОЗА. Долгое время я не любил сырые места: болота, пойменные луга и речные урёмы, охвостья прудов – те низины, где между кочек почмокивала вода, гундосили комары, и где ноге не было твёрдой опоры. И в этой своей неприязни я был не одинок: по народным поверьям, именно вот в таких непролазных и топких местах обитает различная нечисть.

 Но, после многих походов – причём, без запаса еды: что нашёл, то и съел – я стал даже к болотам относиться совсем по-иному. Можно сказать, я стал ожидать встречи с ними, радуясь, когда впереди намечалась низина – обычно её означали сухие деревья – когда земля под ногами сырела, пружинила, и приходилось уже не брести напролом, а перескакивать с кочки на кочку. Причина же радости, с какой мы встречали болотца, была очень проста: в сырых местах много рогоза – растения, которое не единожды выручало нас в «голодных» походах. Если не ошибаюсь, по содержанию крахмала в корневищах рогоз превосходит картофель; нам даже кисель доводилось варить из него.

 Конечно, рассуждать-то о ценности рогоза просто – а вот как раздобыть метр-другой корневища? Ведь это же надо, в конце непростого походного дня, лезть в болото: одно представление о комарах и холодной болотной трясине уже вызывает озноб. Но делать нечего: голод не тётка. Разувшись и сняв штаны, со вздохом ступаешь в болотную ржавую жижу. Податливый торф проседает, урчит под ногами, и вода начинает кипеть от болотного газа. В эту минуту всегда вспоминается «Макбет»: «Земля, как и вода, рождает пузыри – и это были пузыри земли…»

 Да, вот они, эти самые пузыри: поднимаются вокруг твоих вязнущих ног целым облаком, и обдают резким запахом серы. Так и кажется, следом за ними появится кто-то ещё – сердце сжимается то ли от холода, то ли от страха – и, сам удивляясь себе, по-старушечьи торопливо осеняешь себя крестным знамением.

 Цель же твоя – вон она, впереди, где стеной стоят высоченные стебли рогоза. Каждый стебель украшен коричневым толстым цилиндром, напоминающим шомпол эпохи наполеоновских войн. Кое-где эти цилиндры растрёпаны, и их рыжий пух покрывает болотные кочки и окна застойной воды.

 Подобраться к рогозу непросто: приходится выдержать целую схватку с трясиной. Уже пожалел, что, раздеваясь, не снял и трусы: придётся теперь их сушить. Но вот, наконец, ухватился за крепкий, прогонистый стебель рогоза – и потянул его на себя. Из ржавой воды с чмоканьем вылезло узловатое корневище. Оно всё в буграх и наростах, в свисающих слизистых нитях, в болотных червях и личинках стрекоз. Да, экземпляр мне попался отменный: он толщиной почти в руку, и погонного метра вполне бы хватило на суп. Но его сложно чистить: поди-ка, отмой-отскобли эту липкую грязь, да срежь все наросты и корки. Мы поступаем проще: берём только почки, что спрятались в пазухах корневища. По виду они напоминают чесночные гладкие дольки; двух-трёх горстей таких почек вполне хватит на ужин для двоих.

 Я минут уже десять копаюсь в болоте: вытаскиваю, одно за другим, корневища, рассматриваю их и отламываю сочно хрустящие почки, удивляясь их гладкости, белизне, чистоте – пока не наполняю ими карман «брезентухи». «Пожалуй, хватит», – думаю я, и вдруг удивляюсь тому, что мне вовсе не хочется вылезать из болота, в которое так не хотелось недавно входить. Я привык-притерпелся и к хлюпанью этой вот жижи, которая больше не кажется мне ледяной, и к податливой вязкости торфа, и даже к сернистому запаху донного газа, который щекочет мне ноги. Я вошёл в этот мир, почти принял его – как и он почти принял меня – и даже болотные птахи перестали меня опасаться. Вот воробей – и откуда он взялся в болоте? – присел на согнувшийся стебель рогоза, и начал азартно трепать его рыжий цилиндр – так, что пух полетел над трясиной. Вот пёстрый дятел припал к сухой ели, торчащей из топи, и выдал весёлую дробь. А ворон, огромный и угольно-чёрный, пролетел надо мною так низко, что я ощутил колыхание воздуха от его тугих взмахов.

 Выходит, всё дело в том, как мы сами относимся к миру – и он отвечает на наше к нему отношение, становясь и добрее, и ласковей к нам. Вражда порождает вражду, а добро и доверие порождают добро – вот какое открытие, вместе с рогозом, я выношу из болота. Что ж, ради этого стоило лезть в ледяную жижу. Редко когда я бывал таким грязным, как в ту минуту, когда вылезал из болота – и редко когда бывал так просветлён и спокоен. Даже тех комаров, что накинулись, алчно звеня, на мои голые ноги – даже комаров я не хлопал, как раньше, а только сгонял, улыбаясь при этом какой-то блаженной улыбкой…

 КОТЕЛОК. Как вам такая картина: вечерний туман, низкий берег реки – и костёр, над которым висит котелок? Для меня это зрелище сызмала невыразимо отрадно. Оно означает – если попробовать всё же выразить это невыразимое чувство – что всё идёт правильно, в мире царят и покой, и порядок: раз день завершается тем, что костёр тихо-мирно потрескивает на речном берегу, огонь лижет дно котелка, а в самом котелке варится каша. Чувства и мысли, похожие на «жизнь удалась», или «всё слава Богу» – они возникают тогда даже не в голове, а, скорей, где-то в сердце.

 Потому можно сказать, что вечерний костёр и висящий над ним котелок для меня есть не просто устройство для приготовления пищи, а нечто сакральное – то, без чего мой мир был бы неполон. В конце концов, каждый из нас строит свой личный космос – и в моём мироздании котелок над костром почти так же необходим, как восход Солнца, или речь на родном языке. Наша жизнь обязательно чем-то должна быть согрета – чем-то очень простым, человеческим, близким – и когда я мешаю, какой-нибудь струганой палкой, бурлящую кашу, или снимаю пену с ухи – мне тогда кажется, что не так уж я и одинок в этом мире, под этими звёздами, что так чисто и холодно светятся над головой…

 В предмете значительном – таком, как котелок – мелочей быть не может. Например: как мы с вами подвесим его над огнём? Привычки, традиции, флора и почва тех мест, где ты оказался с походным своим котелком – всё влияет на способ подвески. Лучше всего то, что попроще: две рогулины, вбитые в землю, и перекладина между ними, продетая в дужку котла. Впрочем, на «северах» костровая подвеска ещё проще: там рогулину ставят только одну. Перекладина над ней торчит наискось: на её верхнем конце, над огнём, висит котелок – а нижний привален увесистым камнем. Но такая конструкция, на мой взгляд, слишком уж напряжённо-тревожна – и это её напряжение неизбежно передаётся душе. Где нет симметрии и равновесия –нет и покоя; а покой-то как раз, в предвечерние эти часы у костра, нам дороже всего.

 В горах Крыма, где рогульки не вбить – приходилось устанавливать котелок на камнях. Получалось подобие очага – и сухой можжевельник пылал под котлом, на горячем полынном ветру.

 А на песчаных отмелях рек случалось устанавливать котелок на три сырых колышка, вбитых прямо в кострище: вода в котелке закипает быстрее, чем эти колышки перегорают. Есть ещё тросы, которые можно подвесить между деревьями; есть складные треноги; есть решётки-жаровни, на которые ставится котелок. Но это всё приспособления, скорее, для пикников, чем для серьёзных походов: не тащить же с собой в рюкзаке треногу или жаровню?

 Как разнообразны способы подвески котелка над костром, так же разнообразны вес, форма, размер и самих котелков. Помнится, много лет котелком нам служила помятая и закопченная дюралевая кастрюля, к ручкам которой была подвязана дужка из проволоки. Нынче в моде котелки-каны: ёмкости продолговатой бобовидной формы, которые можно вставлять друг в друга, словно матрёшек. Нет слов – удобно. Но всё же привычнее котелок-полусфера: тот самый, классический, который и вызывает в душе все те мысли и чувства, о каких я писал выше. Именно такой котелок гармонически соотносится со всем, что его окружает: и округлой зелёной палаткой, стоящей поодаль, и жёлтою половинкой луны, что восходит над лесом, и с той полусферою звёздного неба, что накрывает нас летнею ночью.

 А сколько загадок таит в себе котелок – вещь, казалось бы, примитивно простая! Как объяснить, например, вот такое туристическое поверье (подтверждавшееся, в моём личном опыте, множество раз): если, не отрываясь, смотреть на воду, налитую в котелок – то она очень долго не закипает? Вода словно стесняется нашего взгляда; словно та сокровенная встреча огня и воды, что совершается в недрах котла – не должна быть доступна случайному или равнодушному зрителю.

 Но, даже зная об этом мистическом свойстве, отвести глаза от воды, начинающей закипать в котелке, почти так же трудно – как, скажем, от раздевающейся на берегу юной купальщицы. Вот от стенок котла начинается едва видимое струенье, вот по днищу во множестве высыпают жемчужные пузыри, которые наливаются, зреют, растут – и вдруг, трепеща, отрываются и взмывают к поверхности. От воды поднимается пар, который мешается с дымом костра – а тот, расстилаясь по-над росистой травой, смешивается с туманом, слоями ложащимся над луговиной. И всё же это ещё не кипенье; должно пройти время, чтобы уже не отдельные пузыри, а целые их ручейки заструились от днища и побежали к поверхности – чтоб ожившей воде стало тесно внутри напряжённо подрагивающего котелка. И вот когда она вдруг замутится, взбугрится – а потом начнёт даже кидаться за борт котелка, с шипением заливая костёр – вот только тогда время сыпать крупу.

 Кружка гречки, опрокинутая в бурлящий котёл, мгновенно останавливает кипенье и ложится по дну рябым, ровным слоем. Но чуть погодя этот слой начинает подрагивать: так родниковые струи приподнимают донный песок, заставляя его танцевать.

 И вот уже затанцевала вся гречка. Рябые крупины взлетают всё выше и выше, потом они разбухают – и скоро котелок с гречкой напоминает не столько родник, сколько жерло небольшого вулкана. Лава гречневой каши непрерывно извергается из его недр, вспучивается и выворачивает саму же себя наизнанку. Когда каша поспела – а это легко понять даже на слух: она уже не клокочет, а всхлипывает – самое время открывать тушёнку. Знаете ещё одно туристическое поверье: «Чем веселее свинья на банке – тем хуже тушёнка»? Но сегодня нам, кажется, повезло: мордочка нашей свиньи на редкость уныла.

 Впрочем, тушёнку, я думаю, вы добавите в кашу и без меня. Я же пока посижу у реки, погляжу на вечернюю воду, да запишу в блокнот мысли о котелке и о гречневой каше.

 КРУЖКА ВОДЫ. Когда кружка воды означает спасение? Я говорю не о тех ситуациях, когда человек умирает от жажды в пустыне – но о самой обыденной жизни.

 Вот представьте: вы просыпаетесь мутным и тягостным послепраздничным утром – и, томимые жаждой, шарите в сумерках кухни, наливая неверной рукой вожделенную кружку воды. Ведь самое тяжкое в состоянье похмелья – именно та безотрадная сухость, в которую ты погружён, словно в жаркий песок. Кажется, что из тебя ушла жизнь; что не одно только тело, но даже душа (если б её можно было увидеть) потрескалась и почернела, как земля в засуху. И чудится, что из её пыльных трещин вот-вот начнут выбираться разные там пауки, сколопендры да аспиды…

 Но ещё хуже, чем сухость – глубинное чувство вины. Может, ты накануне ничего и не сделал особо плохого – но сейчас виноват уже тем, что ты существуешь, и не можешь никак, в этот тяжкий утренний час, оправдать своё бессмысленное существование. Твоя нынешняя вина – вина перед всем, так сказать, бытием…

 Словом, если мы и способны почувствовать, ещё на земле и при жизни, дыхание ада – то похмельная жажда и неотступное чувство вины уже нам дают представление о тех безнадежных пространствах, где сохнет, мертвеет и гибнет душа. Ад – он всегда рядом, и не надо, как писал Гоголь, ходить за чёртом тому, у кого он за плечами сидит.

 Но жизнь милосердна к своим непутёвым питомцам: хоть близок ад – но ещё ближе спасение. И нынешним утром оно воплощается в этой кружке воды, за которую ты ухватился, как утопающий за спасательный круг. Припадая сухими губами к её запотевшему краю, ты жадно пьёшь – саму жизнь. И с каждым глотком, что прохладной волной омывает твоё пересохшее горло, ты утоляешь не только похмельную жажду – но ещё и вымаливаешь прощение. Чувство вины, что так жгло твою душу – оно понемногу стихает…

 А всего-то, казалось бы – кружка воды! Но Бог – в мелочах; порою достаточно кружки воды, чтобы почувствовать благодатную силу прощения. Значит, мелочь – уже не такая и мелочь; не случайно же именно кружка воды так нередко приходит на ум, когда вспоминают о смерти. «Кто подаст ему кружку воды?» – вопрошают, имея в виду тяжкий труд умирания. Стало быть, и на последнем земном переходе – из жизни в смерть – кружка воды может нам помогать. Предсмертная кружка становится той последнею милостью, которую нам дарит жизнь; и надо молиться не только о том, чтобы был рядом тот, кто её поднесёт – но и чтобы нам, уходящим, хватило бы сил принять этот дар с благодарностью.

 КУЛЁК. Вот пришли времена: уже надо объяснять молодёжи, что такое кулёк! А полвека назад редко какой покупатель выходил из продуктового магазина без кулька в руке, либо в сетке-авоське (тоже, кстати, слово-реликт).

 Кулёк – то есть конус из серой (иногда синей), шершавой, очень приятной на ощупь бумаги – был тогда универсальною упаковкой. В кульках несли всё: сахар и яйца, конфеты и пряники, муку и крупу, макароны и семечки. Даже селёдку бросали в кулёк – и сквозь бумагу проступало масляное пятно. Или, скажем, подсолнечная халва – она тоже пропитывала бумагу, и кулёк становился пахучим и сладким, почти съедобным.

 Всегда нравилось наблюдать, как продавщица, где-нибудь в сумраке сельского магазина, виртуозно сворачивает кулёк. Она берёт лист бумаги из стопки, встряхивает его с лёгким хлопком, затем стремительно оборачивает вокруг собственной полной руки, ловко заламывает вершинку – и вот перед ней ровный конус, в который скоро с шуршаньем начнут сыпаться сахар или крупа. В магазине прохладно и пусто, с потолка висят клейкие ленты, на которых брунзжат невезучие мухи, а по углам стоит и висит всякая всячина, которую так интересно рассматривать. Тазы и решёта, серпы и лопаты, примусы и керогазы, лампы «летучая мышь», дымари, сапоги и калоши, чугунки и ухваты, печные заслонки, мышеловки и конопляные веники – всё, что могло пригодиться в сельском быту, и чем здесь торговали вместе с продуктами.

 Удивительно, до чего проста была тогда жизнь: всё её материальное, так сказать, обеспечение помещалось в единственной на всю деревню лавке «сельпо». И эта жизнь – во что сейчас даже трудно поверить – была практически безотходной. Ни мусора, ни, тем более, мусорных свалок тогда просто-напросто не существовало. Все съестные остатки доставались курам или поросятам; всё, что могло гореть, оказывалось в печи; верёвочкам, крышечкам или коробочкам обязательно находилось место в хозяйстве. Взять, к примеру, какую-нибудь круглую жестяную коробку из-под селёдки – разве можно было её взять, да выбросить? Нет, отмытая от сельдяного рассола, она или служила хозяину хранилищем для гвоздей – а гвоздь, даже гнутый и ржавый, был тогда большой ценностью – или становилась кормовой миской для дворового Тузика.

 Это я всё к тому, что нынешние времена, по сравнению с аркадской идиллией моего детства, буквально выбросили нас на свалку: упаковочного мусора вокруг столько, что мы рискуем быть заживо похоронены в его грудах. Наша цивилизация превратилась, в прямом смысле, в цивилизацию упаковок. Полюбуйтесь какой-нибудь компанией горожан, выехавших на пикник. Да, посидят они у костерка или мангала, подурачатся, выпьют-закусят, пожарят свои шашлыки – но упаковок, бутылок, пакетов оставят после себя целую гору! И ведь это всё вечный мусор: пластик, которым отдыхающие осквернили природу, переживёт их самих, их детей, внуков и правнуков.

 А, кроме того, цивилизация упаковок – это мир видимостей и обманов. Никакая вещь, спрятанная в ярко-призывную оболочку, не может быть так хороша, так вкусна и полезна – как об этом кричат картинки и надписи на упаковке. Скорее, всё наоборот: чем ярче форма, тем скуднее (порой и опаснее) содержимое.

 Поневоле со вздохом и нежностью вспомнишь о старом добром кульке из обёрточной серой бумаги. Он был скромен, да честен: лишнего не сулил, а уж если что нёс в себе – так добротное и настоящее. И финал кулька всегда был достойным. Какое-то время он хранил те продукты, что были завёрнуты в нём; потом бумага кулька могла стать обёрткой, к примеру, куриных яиц, уложенных в старой плетёной корзине. Но, в конце концов, любой из бумажных кульков становился печною растопкой. Бумага комкалась; этот комок подсовывался под щепки, лежащие в топке печи – и скоро бумага смуглела от зыбкого пламени спички. Кулёк служил людям последнюю службу: он становился огнем – а потом улетал, в виде сажи и жара, в печную трубу…

 КУЛИНАРНЫЕ КНИГИ. Какой только нынче не встретишь литературы по кулинарии! Стоит зайти в книжный магазин – глаза разбегаются от обилия ярких обложек и сотен названий, призывающих нас к наслаждениям чревоугодия. Никакой Лев Толстой не издаётся так нарядно и привлекательно, как какой-нибудь сборник «Рецепты тёти Моти» или «Тайны кулинарии аборигенов острова Окинава».

 Но глянец и золото этих изданий во мне лично аппетита не пробуждают. То ли я чувствую во всём этом некий подвох – уж больно всё пёстро и броско – то ли вкусы мои, что сложились ещё в прошлом веке, расходятся со вкусами нынешних дней, и взгляд почти равнодушно соскальзывает с лакированных ярких обложек.

 Зато до чего интересно держать в руках старую – а ещё лучше старинную – кулинарную книгу: ту, которая передавалась от бабушек к внучкам, и на страницах которой остались следы поколений. Полистайте какой-нибудь пожелтевший, затрёпанный том «Домоводства» или «Книги о вкусной и здоровой пище» – той самой, которая пятьдесят лет назад играла роль катехизиса, книги ответов на основные жизненные вопросы. Вы сразу почувствуете, как много жизни хранит эта старая книга – в том числе, и потому, что традиции быта, как правило, переживают крушения царств и империй, триумфы и гибель вождей, ужасы войн и судороги революций. Кухонный очаг долговечней дворца, и насущные интересы желудка всегда будут людям ближе политических лозунгов или партийных пристрастий. Как известно, «любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда»: что можно добавить к печальной и мудрой улыбке этого народного изречения?

 Давайте же полистаем старую кулинарную книгу. Закладками в ней служат то ломкий засохший цветок, то листок отрывного календаря, несущий память о дне, что давно канул в Лету, то нитка или лоскуток пёстрой ткани – а чаще всего страничка с рукописным рецептом, услышанным от подруги или соседки, и дополняющим том кулинарного руководства. Эти листочки бывают обычно помяты, захватаны пальцами и забрызганы жиром; но зато можно сказать, что старинные кулинарные книги непрерывно дописываются теми, кто ими пользуется.

 По этим вкладышам можно порой догадаться, какому празднику предназначалось жаркое или пирог, чьи следы отпечатались на листке разлинованной школьной тетради. Вот, скажем, рецепт гуся с яблоками: это, конечно же, Новый Год или Рождество – это ёлка, гирлянды и свечи, оранжевые мандарины и непременный салат «оливье», это ожидание счастья, которое в нас сохраняется на всю жизнь.

 А вот рецепт пасхального кулича: сразу же представляешь апрельское ясное утро, счастливых старушек, бредущих от всенощной, пасхальные возгласы и поцелуи – и горку малиновых, синих, зелёных и пёстрых яиц на столе.

 Рецепт окрошки – это, скорей всего, Троицин день: когда храмы пахнут берёзой, а поселковая наша околица – свежескошенным сеном.

 А сладкие пироги – это дни рожденья детей. Духовка раскрыта – она пышет жаром – а масляный противень глухо гремит, когда по нему расстилают корж теста, и заливают его ярко-алым вишнёвым вареньем. И та девочка, что зачарованно смотрит на эту картину – девочка, которая, спустя много лет, сама станет бабушкой и будет печь внукам праздничные пироги – не будет ли и она воскрешать в памяти этот вишнёвый пирог, как самое сладкое воспоминание жизни?

 ЛЕДЕНЕЦ. Можно, конечно, сварить леденец самому – как мы это и делали в детстве. Берёшь ложку сахара, держишь её над огнём – сахар тает, желтеет, и вязкий сироп начинает кипеть. Янтарные пузыри разбухают и лопаются – и тогда убираешь с огня закопченную ложку, чтоб твой леденец мог остыть.

 Его сладкий, с оттенком горелого, вкус памятен до сих пор – и памятно то удивление, с каким я наблюдал переход вещества из одного состояния в другое. Только что в ложке был сахар, сыпучий и белый – вот в ней пузырится вязкая карамель – а вот уже, стукнув ложкой о стол, я выбиваю из неё гладкий и твёрдый, как камень, кусок леденца.

 Но ещё большее удивление и восхищение вызывал «петушок на палочке» – популярное лакомство прежних лет. Эти леденцы продавались обычно с лотков, во время каких-нибудь празднеств или гуляний. Помнишь – спрашиваю я самого же себя – как лежали они, слипшись боками, на вощёной бумаге торговца, и с каким целующимся звуком отлеплялись один от другого? Цвет леденца был обычно янтарным, хотя попадались и красные, и зелёные петушки. А размер его был таким, что, засунутый в рот целиком, леденец выпирал изнутри детских щёк и раздвигал губы в оцепенелой улыбке – посередине которой торчала липкая палочка-черенок.

 Чем больше ты облизывал леденец, заглаживая языком его острые рёбра, тем он становился прозрачней – уже до того, что сквозь петушка можно было увидеть и солнце, и ствол ближнего дерева, и даже шагающих мимо людей. Иногда начинало казаться: всё то, что видишь, находится не за леденцом, а внутри него, в его собственном полупрозрачном теле, которое словно содержит в себе целый сказочный мир. Этот мир завораживал: всё в нём светилось янтарным, таинственным светом. Ребёнком ты ещё не понимал слова «преображение», но сквозь леденец, истаявший до толщины бутылочного стекла, ты видел мир уже как бы преображённый: такой же, как есть – только лучше.

 А иногда, отвлечённый чем-либо, ты совал недоеденного петушка в карман, и надолго о нём забывал. Помнишь, как потом было странно и грустно доставать леденец из кармана штанов или куртки? Он был потускневший и жалкий, облепленный сором, ничтожный. И куда подевалось былое его волшебство? Пытаясь хоть что-то исправить, стараясь вернуть тот таинственный мир, что тебе померещился давеча внутри леденца, ты начинал отлеплять от него шелуху семечек, нитки и хлебные крошки, комочки свалявшейся шерсти – тот сор, которого леденец нахватался в кармане. Но усилия были напрасны: петушок оставался безжизнен и тускл.

 И вот только когда ты слизывал с угловато-шершавого, сладкого тельца соринки, ворсины и крошки – тогда леденец оживал. Он опять становился прозрачен и гладок, и в нём ненадолго опять возникал тот таинственный свет, в котором волшебно менялся весь мир. Поднося леденец к глазам, ты опять видел сказку, тот мир, что как будто похож на обычный – но только прекрасней его. Одно было плохо: леденец быстро таял – а с ним исчезало оконце в тот сказочный мир …

 ЛЕПЁШКИ. Речь пойдёт даже не о лепёшках из пресного теста – а, скорей, о давнишней мечте. Была у меня в детстве любимая книжка: «Мумми тролль и комета». И был в ней рисунок, сделанный самой Туве Янссон, автором книги: Снусмумрик, один из героев, сидит у костра меж корней старого дерева и печёт на сковородке лепёшки. Уж не знаю, чем так покорил меня этот рисунок – быть может, каким-то уютом печали, что наполнял и его, и всю книгу? – но всё моё детство, а потом и всю молодость во мне сохранялась мечта: когда-нибудь тоже вот так, как Снусмумрик, расположиться у старых древесных корней, развести костерок и вот так же неспешно испечь полдесятка лепёшек. Смутно мерещилось, что ничего лучшего в жизни не может и быть, и что вполне счастлив я стану только тогда, когда на мерцающих углях костра зашкворчит сковородка, а на ней, становясь всё румянее, будут подпрыгивать ноздреватые кляксы из теста…

 Ждал я этой минуты лет, наверное, двадцать. И вот, наконец, всё совпало: и вечер, и берег реки, и костёр, чьи блики мерцают на тёмной воде. Пошевелишь дрова – искры взлетают и гаснут в ветвях старой ивы, по чьим оголённым корням так удобно спускаться к реке за водой. Я спустился и зачерпнул из реки котелком – отраженье костра задрожало, расплылось и снова собралось – а потом, сев на корточки возле огня, начал смешивать в миске воду с мукой. На Снусмумрика, правда, я пока не был похож: слишком уж суетливо я растирал комки теста, и во мне ещё не было медленной грусти – той, без которой никак не испечь настоящих походных лепёшек.

 Лишь когда тесто было готово, и на крышке от котелка (заменявшей мне сковородку) шкворчал кусок сала, и ночь пододвинулась ближе – потому что костёр уже не плясал языками огня, а лежал грудой жарких, мерцающих углей – лишь тогда ощутил я толчок затаённой печали, которая мне говорила: «Едва ты исполнишь мечту – как расстанешься с ней». Что же, подумал я, пришло время расстаться и с давней мечтой о лепёшках – пришло время их печь…

 Я даже тесто стряхивал с ложки на сковородку каким-то прощальным, как бы обрывающим что-то, движением. Но не подумайте, что мне было плохо – нет, вовсе нет! – просто я так устроен, что грусть-печаль часто приходит как раз в те минуты, когда всё хорошо и когда, кажется, нечего больше желать. Я словно знал: всё, что будет потом, будет хуже вот этого вечера на реке, этой груды углей со шкворчащей на них сковородкой, и этого чувства покоя, который приходит так редко и так ненадолго.

 Края лепёшек уже подрумянились – пора было их переворачивать. Я загодя выстругал плоскую щепку (вспомнив, что именно щепкой пользовались герои любимой книги), и теперь, поддевая лепёшки, одну за другой перебрасывал их наизнанку. Шкворчание теста вмиг сделалось громче, хлебный дух поплыл над костром – и какая-то птица (или, быть может, летучая мышь?) так бесшумно и низко скользнула над головой, словно ей тоже хотелось лепёшек.

 Не терпелось и мне. Подцепляя лепёшку ножом, обжигаясь и дуя, кусая хрустящий обугленный край, я начал есть – спору нет, было вкусно – но всё же в азарте еды, в торопливом жевании – в этом всём оставалось уже очень мало от той мечты о лепёшках, с которою я отправлялся в поход. Можно сказать, я свою мечту съел; и мне становилось так грустно и так одиноко, как будто я в самом деле не знал: как жить дальше? Костёр догорал, от реки поднимался туман, становилось сыро и зябко; и ночь, что была у меня впереди – представлялась огромной и неодолимой…

 ЛИВЕРНАЯ КОЛБАСА. В годы нашего студенчества килограмм ливерной колбасы стоил шестьдесят копеек – деньги пустяшные – и это было хорошим обедом для трёх-четырёх человек. Ещё брали буханку чёрного хлеба («орловский», 16 копеек); не исключалась и пара бутылок портвейна. Самый дешёвый, на этикетке которого красовались три цифры «семь» – мы его называли «три топора» – стоил рубль с небольшим; самый же дорогой, «Молдавский» – по-нашему, «мужик в шляпе» – тянул, если не ошибаюсь, аж на три семьдесят.

 Сейчас я и сам удивляюсь: почему так отрадны воспоминания о той простецкой еде – и даже о мизерных ценах тогдашней поры? Или вообще всё, что связано с молодостью, с годами становится всё драгоценнее – или и впрямь та эпоха была исключительной и неповторимой, и всё, что напоминает о ней – даже мелочи быта – имеет особую ценность?

 Итак, ливерная колбаса. Выйдя из магазина с её тяжелым и гладким, пахучим кольцом, так приятно свисавшим с ладони, мы решали: а где же сядем перекусить? Смоленск замечателен тем, что почти в центре города есть заповедное место: старинная крепостная стена. Вот к подножию этой стены мы обычно и направлялись. В те годы она была полуразвалена – словно поляки только что осаждали её, а героический Шеин возглавлял оборону Смоленска – и пустынные склоны холмов за стеной выглядели примерно так же, как и в шестнадцатом веке. Вот как раз там, у подножия башни Орёл, мы и начинали наш студенческий пир.

 Голод и молодость – лучшие из поваров. Потом, уже в зрелости, приходилось мне пробовать кушанья и поизысканней; но никакое из них не сравнялось с краюхою ноздреватого серого хлеба и куском ливерной колбасы. Помните, как колбасная оболочка туго лопалась на изгибе – и упоительный ливерный запах окутывал нас, словно облако?

 А портвейн? Как забыть о портвейне, об этой тяжёлой бутыли, которая на тогдашнем жаргоне называлась «огнетушитель» – упругий пластиковый колпачок на которой сидел так плотно, что снять его было непросто? Уж чем только мы не пытались сдёрнуть его – зубами, ногтями, ключами – пока, наконец, не поддевали и не срывали крышку какою-то ржавой железкой (быть может, осколком военной поры?), что валялась в пыли под стеной.

 И почему-то сама прочность и плотность пластмассовой крышки бутыли нас радовала. Казалось: уж если предмет заурядный – какая-то крышка – настолько надёжен и несокрушим – то как же прочна должна быть та жизнь, что нас окружает? Мерещилось, что нас всех – всю нашу эпоху, со всем её движимым и недвижимым содержимым – защищает от сквозняков перемен какая-то тоже незримая крышка, какой-то колпак, что надет на всех нас; и, пока эта крышка не сдёрнута – портвейн будет крепок и сладок, а колбаса будет очень дешёвой и вкусной, и мы все будем жить словно в раю, где время остановилось.

 Но всё оказалось иначе. Не успели мы там, под старинной стеной, попить вволю портвейна и вдоволь наесться ливерной колбасы – как страна и эпоха, любимые нами, исчезли. Не успев повстречаться, мы – сами не зная того – уже провожали эпоху, а заодно уж прощались и сами с собой, молодыми.

 Но ещё поразительней то, что всё сохранилось: и молодость, и руины старинной стены, и бутылка портвейна с тугою пластмассовой крышкой, и стая стрижей, свиристевших над нами, и тот тугой хруст, с каким мы ломали кольцо ливерной колбасы. Когда я вспоминаю об этом, потом кое-какие из воспоминаний записываю, потом перечитываю то, что сумел записать – былое встаёт предо мною не просто таким же, как было когда-то, а ещё даже более ярким и достоверно-живым.

 И вот это, конечно же, чудо: то, что память и слово способны не просто бороться со временем, а могут ещё воскрешать былое – в лучшем, преображённом виде. Ведь даже та ливерная колбаса, которую я уплетал, запивая портвейном, в какой-то далёкий, почти незапамятный день – тогда она мне не казалась настолько вкусна и желанна, как кажется в эту минуту, когда я словно чувствую пальцами её гладкую кожу, вдыхаю её пряный запах, и когда всё прочнее во мне убеждение, что ничто из былого не исчезает бесследно…

 ЛОЖКА. Что, казалось бы, проще, обыденней ложки? Каждый день мы берём её в руки, зачёрпываем ею суп или кашу – или позвякиваем в чайном стакане – почти не обращая на неё, ложку, внимания. Но, если вдуматься, этот предмет не так прост. Уже одно то, что ложке посвящены десятки пословиц и поговорок, заставляет взглянуть на неё с интересом. Тут и «дорога ложка к обеду», и «одною ложкою щи хлебаем», и «ложкой кормит, а стеблем глаз колет», и пресловутая «ложка дёгтя в бочке мёда» – читатель, если желает, сам может продолжить этот ряд поговорок и присказок.

 А ведь ложкою, кстати сказать, богаты далеко не все цивилизации или народы. Кто-то за трапезой обходится вовсе без приспособлений – первобытным народам они неизвестны – а кто-то, имея возможность есть ложкой, сознательно отказывается от неё. Известно же, что главная пища Азии, плов – гораздо вкуснее, если брать его прямо пальцами. Иногда вместо ложки используется ломоть хлеба: так, я множество раз наблюдал, как индусы черпают острейшее чечевичное хлёбово куском лепёшки-чапати. А японские или китайские палочки, из которых у европейских туристов вываливается еда – но которыми аборигены пользуются так виртуозно?

 Так что давайте подробнее поговорим о старинной, испытанной нашей подруге – о ложке. А начнём мы, пожалуй, с того, что самая первая ложка – это наша ладонь. Кому не случалось, страдая от зноя, напиться холодной воды из горсти – а потом отереть ледяною ладонью пылающий лоб? По образу нашей ладони и создана ложка; можно сказать, это самый первый протез – то есть искусственный орган – который придумало человечество.

 Первая же настоящая ложка, с которой мы с вами встречаемся ещё во младенчестве – та, что дарится нам «на зубок» – она обычно серебряная, очень нарядная, и на черенке её красуется забавный какой-нибудь зайчик или медвежонок. И молодые родители просто млеют от счастья, когда эта ложка вдруг стукнет о первые зубки младенца…

 Но я своей младенческой ложки не помню. Зато хорошо помню ложку немецкую, оставшуюся с войны: она была склёпана с вилкой и складывалась вдвойне – так, что было удобно сунуть её хоть в карман, хоть в сапог. Эта ложка стала настоящей реликвией нашей семьи: отступая во время сраженья под Курском, немецкий солдат обронил её в хате деревни Камыш, где жил тогда мой трёхлетний отец – и потом я, родившийся через двадцать лет после войны, часто вертел в руках этот военный трофей. Уже по одной этой ложке можно было понять, до чего же могучею силой был вермахт – и чего нам, русским, стоило его сокрушить. Уж если простая солдатская ложка была сделана так основательно – её заклёпка не разболталась за столько лет – то что же тогда говорить об автоматах и пулемётах, о самолетах и танках? Чтобы победить армию, вооружённую, в том числе, и такими вот ложками, в семье Панюковых (это семья моей бабушки по отцу) из пяти братьев, ушедших на фронт, пали четверо: вот цена этой ложки, брошенной в хате деревни Камыш отступавшим немецким солдатом.

 Большинство из тех ложек, что мне приходилось потом держать в пальцах – детских, мальчишеских, подростковых – в памяти не задержались. Но вот что меня удивило, и что я запомнил – так это дюралевые гнутые ложки родного советского «Общепита». Они, небрежно сполоснутые тёткой-посудомойкой, лежали обычно в гремящих железных лотках – и большинство из них было странным образом покорёжено. Черенок был то завит винтом, то согнут в дугу, то вовсе отломан: словно эти казённые ложки нарочно терзала и портила неведомая сила. А потом, полюбив «Общепит» и проведя немало часов в его сумрачных недрах, я не раз наблюдал, как подвыпившие мужики увечат эти самые ложки: как их крутят и гнут в грубых пальцах, как черенки чуть ли не завязывают в узел – и какая при этом тоска наполняет хмельные, угрюмые взоры. Словно жизнь была мужикам так тяжела, так давила и мучила их, что это мучение неосознанно передавалось их пальцам, терзающим ложку – отчего она, бедная, и превращалась в уродливо скрученный жгут.

 Но вот какую ложку свернуть в узел было нельзя – так это исконно крестьянскую, деревянную: её можно было только сломать или сжечь. Оставшись, быть может, последним из символов избяной деревенской Руси – той, есенинско-клюевской, канувшей в Лету – деревянная ложка доносит до нас отголоски традиционного строя веками отлаженной жизни. Тем более что деревянная ложка давно уж не столько прибор для еды, сколько ещё и музыкальный инструмент, или предмет декоративного искусства. Костяной перестук этих ложек, рассыпанный под «Камаринского» или под «Барыню», напоминает лихой перестук кастаньет, их испанских сестёр.

 А когда деревянные ложки расписаны мастерами из Палеха или Мстёры – то глаз не оторвать от их лаковой пестроты, от яркости черни и золота, охры и киновари. Такую ложку и в суп-то бывает жаль опускать: её только держать, как цветок, за стебель, да любоваться её красочным буйством.

 Но когда всё же ешь деревянною ложкой, то возникает чувство, что ты поедаешь именно ложку; а сама еда – это всего лишь придаток к ней. Ты и облизываешь ложку, и прикусываешь её, и стараешься так её обсосать, словно это не ложка, а мозговая сладкая кость. Недаром деревянные ложки, бывшие в частом употреблении, становятся стёрты, обгрызены – именно «съедены», как о них говорят.

 Излишне писать, что любая еда, если зачёрпывать её деревянною ложкой, обретает вкус изначальный и правильный. Разве можно сравнить горшок гречневой каши или тарелку наваристых щей, рядом с которыми мы положили любимую деревянную ложку – с теми же блюдами, но оснащенными ложкой стальной? Есть простую, исконную пищу металлической ложкой – почти то же самое, что выйти на пахоту или покос в бальных лаковых туфлях: смешно, неуместно, неловко.

 Вообще, раз уж мы заговорили о деревянных ложках, можно добавить, что расписная липовая ложка – своего рода портрет той нации, что её сотворила. Она и проста – даже, можно сказать, простодушно-наивна – она небогата и недолговечна (а русские и до сих пор живут меньше других) – но, в то же самое время, душевна, тепла и нарядна, и очень талантлива. Деревянная ложка – это и танец, и песня, которую мы порой держим в руках, часто даже не замечая того, каким праздником нас одарила судьба.

 ЛОЗА ЧЕРНОГОРИИ. Черногория очень красива. Но, как всегда, чем прекрасней что-либо – тем труднее поведать об этом словами. Это как с девушкой: чем она больше нравится – тем глупее твой вид и нескладнее речи.

 Вот как отразить на бумаге не просто серпантин горной дороги – наш как бы взлёт по каньону, над бирюзовою лентой реки, что мелькает внизу, среди бурых скал – но ещё и ту смесь восторга и страха, которая охватывала, когда колесо автобуса на поворотах чуть ли не повисало над бездной – где, на дне пропасти, ржавели останки рухнувших туда автомобилей? А водитель, к тому же, гнал так, словно он торопился скорее попасть не то в рай, не то в ад: уж не знаю, куда ему было назначено.

 Наконец мы остановились у горного монастыря и с облегченьем ступили на твёрдую землю. Я, как обычно, отбился от группы и пошёл побродить по задворкам: мимо пасеки, где возился монах с дымарём, мимо скудного монастырского огорода и виноградника, обошёл вокруг храма, который по форме и цвету почти не отличался от окружающих скал – и вышел к церковной лавке, где торговали богослужебною утварью. Здесь были свечи, кресты и иконки, цепочки и чётки, бутылочки масла, молитвенники и лампадки цветного стекла. И вдруг среди этих, мерцающих позолотой, предметов я увидел приличных размеров бутыль, на которой было написано «лоза». Встретить бутыль виноградного самогона вот именно здесь, где всё было чинно и благопристойно, где воздух пропитан был воском и ладаном – вовсе не показалось мне странным. Я вспомнил, что латинское «spiritus» означает как «спирт», так и «дух». Да и само получение спирта – возгонку – изобрели как раз в монастырях, ещё в раннем средневековье: так что здешняя лоза занимала своё законное место.

 Старая женщина, что торговала в той лавке, заметила, как я внимательно рассматриваю бутыль – и, улыбнувшись, спросила:

 - Русия?

 - Русия, - кивнул я в ответ.

 И не дожидаясь, что я у неё попрошу, старушка налила мне полную рюмку пахучего и ледяного – аж запотело стекло – самогона.

 - На здравие! – сказал я, подняв рюмку, залпом выпил и вытер слезу: уж очень крепка оказалась та монастырская лоза.

 Я бы, конечно, ещё постоял рядом с доброй старушкой, поговорил бы о чём-нибудь с ней – рюмка лозы магическим образом увеличила мой запас сербских слов – но, увы, пора было ехать.

 Автобус, натужно гудя, опять потащил нас выше и выше по серпантину, колёса на поворотах снова едва не зависали над пропастью – но теперь, после выпитой лозы, почти не было страшно. Не то, чтобы действовал хмель – он почти и не ощущался – но в душе укреплялось глубокое чувство покоя. Как будто возгонка – процесс, при котором из виноградных отжимок получается самогон – могла совершиться с любым из предметов, и даже с любым состояньем души. Недавно тебе было страшно смотреть на ту пропасть, по краю которой, гудя, поднимался автобус; но теперь только чувство полёта вызывали те горные виды, что открывались глазам. Склоны гор становились всё более голы, по каменным осыпям медленно лился туман – или мы уже въехали в слой облаков? – и орлы, что кружили под нами, казались теперь не крупнее ворон. Туман становился всё гуще – водителю даже пришлось включить фары – и уже начинало мерещиться, что подъём бесконечен: если вдруг кончится горная эта дорога, то наш автобус сумеет, натужно гудя, подниматься даже по облакам…

 ЛУКОВИЦА. Согласитесь: приятно держать в руке золотисто-сухую и шелестящую луковицу. И, коль уж мы её взяли – что с нею делать?

 Можно очистить её, нарезать на крупные сочные доли – и, сморгнув слезу, поставить на кухонный стол. Можно, не очищая, положить её рядом с солонкой, буханкою хлеба и старым ножом с костяным черенком – и писать натюрморт. А ещё можно, опустив луковицу в банку с водой, дожидаться, пока она пустит зелёные перья – посередине морозной и снежной зимы.

 Проросшая луковица на подоконнике, перед заиндевелым стеклом – мне памятна с детства. Простая, казалось бы, вещь – что может быть проще луковицы? – становилась тогда чем-то праздничным и необыкновенным. Нарушался сам ход времен – средь зимы наступала весна! – и любой, кто бросал взгляд на проросшую луковицу – всегда улыбался.

 Зелёные перья тянулись всё выше, а с донца луковицы всё гуще свисала борода из белёсых корней. Вода в банке мутнела; а сама луковица день ото дня становилась всё более дряблой, пустой: её сила и жизнь уходила в зелёные стрелы. Наступал тот момент, когда мама срывала два-три пера, шинковала их на доске и бросала в кастрюлю с картофельным супом.

 - О-о, летом пахнет! – отец, прикрывая глаза, вдыхал острый луковый запах, и ты, подражая ему, начинал тоже старательно нюхать тарелку.

 Действительно, пахло травою, полуденным зноем – пахло истомой далёкого летнего дня, которая сохранялась вот в этой луковице, и даже зима не могла одолеть этих запахов лета и жизни.

 С луковицей связано и ещё одно, уже школьное, воспоминание. Классе в пятом или шестом, когда мы начинали курс биологии, один из уроков был посвящён изучению клеток кожицы лука. Нам раздали предметные стёкла – они были прямоугольными, шероховатыми на торцах – и стёкла покровные, легкие, как лепестки. Потом по рядам пустили сахарно-белую луковицу. Каждому надо было пинцетом снять с неё полупрозрачную плёнку и разложить её на предметном стекле. Затем препарат нужно было прокрасить. Пипетка роняла с дрожащего кончика каплю рыжего йода – и она растекалась по луковой плёнке янтарным пятном. Теперь, накрыв кожицу лука невесомым покровным стеклом, можно было класть её под объектив микроскопа.

 Тут я с трудом удерживаюсь, чтобы не пуститься в пространные описания самого микроскопа. Как сейчас, вижу его гнутый штатив, напоминающий чью-то усердно согбенную спину, его ствол, что нацелен туда, где обычное зренье бессильно, его круглый столик – с блестящей пластиной-зажимом, с винтами подачи – и вижу тот солнечный блик от рефлектора, который было так интересно ловить. Сначала наводишь подвижное круглое зеркальце на окно, ловишь им свет – и направляешь его в потаённый, загадочный мир микроскопа. И в момент, когда солнечный зайчик попадал на отверстие столика – поле зрения вдруг просветлялось, и в его бледно-матовом круге ты угадывал некие контуры. Теперь, осторожно и не дыша, надо было чуть подработать винтами – объектив отступал на какие-то полмиллиметра – и вдруг открывалась картина, которую я не могу позабыть до сих пор.

 Ряды ровных клеток лежали в мерцающем, тающем блеске: цитоплазма, казалось, дышала, пузыри вакуолей напоминали жемчужины, а зрачки карих клеточных ядер – они будто смотрели навстречу тебе, вопрошая: «Ну, как ты, приятель?»

 И вот ныне, почти полвека спустя, я думаю: каково было жить тому мальчику, что находил друзей – в клетках кожицы лука? Видимо, очень непросто: в большом одиночестве должен жить человек, для которого даже кожица лука – подруга. Но зато такой человек никогда и нигде не останется совершенно один: уж чего-чего, а луковицы жизнь для него не пожалеет…

 МАЛИНА. «Не жизнь, а малина», – говорим мы порой. Большей похвалы этой ягоде трудно и высказать; на этом вполне можно ставить точку.

 Но жаль расставаться с малиной так скоро. Она-то нас не оставляет даже зимой: когда ты, иззябнув, уже начиная покашливать и шмыгать носом, ставишь на стол блюдце малинового варенья и принимаешься за целебное чаепитие. И удивительно, сколько жара содержит в себе это варенье: стоит проглотить пару сладких крупитчатых ложек – как в тебе загорается словно костёр, лоб и виски покрываются потом, и простуду буквально выпаривает из груди.

 То, как много в малине сухого, добротного жара, ты знаешь и по весенним кострам. Как только в саду сходит снег, наступает пора выламывать старые малиновые побеги. Сухие высокие прутья ломаются с лёгким, стреляющим треском – почти что с таким, с каким они скоро займутся в костре. На глазах растёт груда хвороста – пара лимонниц танцует над ней – и это порхание бабочек над сухою малиной окончательно убеждает тебя: да, наступила весна.

 Ну, что – поджигаем? Неуверенный огонёк спички сначала исчез внутри вороха прутьев – повалил густой белый дым – но вдруг, как-то разом, малиновый хворост оказался охвачен гудящим и бледным огнём! От костра полыхнуло таким жаром, что, хотя ты и отшатнулся от пламени, от его гула и треска – но брови тебе всё равно опалило.

 Вот это костёр! Сухая малина не просто сгорает, а тает в огне; пламенный вихрь подхватывает и уносит вверх листья, мусор, золу – и даже лёгкие ветки, которые вспыхивают и догорают уже на лету. Вилами ты подцепил на меже и бросил в огонь какую-то драную тряпку – то ли кофту, то ли рубаху? – и вот она вспыхнула тоже, и весенний костёр в этот миг стал почти ритуальным: он стал тем языческим пламенем, на котором сгорает Зима-Кострома.

 Ну, что же: зима сожжена – теперь ждём в гости лето. А летом одно из любимых занятий – наведаться в сад по малину. Если утро росистое – листья малины темны, тяжелы; и рука, что ты сунул в куст, мгновенно становится мокрой по локоть. На ладонь липнет мелкий лиственный сор, паутина, какие-то мошки-козявки; но ты тянешь пальцы к тем налитым, почти черным от спелости ягодам, что падают, стоит только коснуться их мягко-ворсистого бока.

 Вынимаешь ладонь из куста, когда в ней краснеет десяток малиновых ягод – и, первым делом, вдохнёшь из горсти запах спелого лета. Наверное, именно эту минуту и представляют себе, когда говорят: «Эх, не жизнь – а малина!» Когда же, одними губами, подбираешь с ладони душистую мякоть, отчего-то всегда представляешь себе, что ты сейчас лошадь, которую кормит заботливо-щедрая чья-то рука. Что ж, поэт сказал верно: все мы немножечко лошади, и все мы нуждаемся в ласке, которой нам так не хватает.

 МЁД. Конечно, мёд – да с краюхою свежего хлеба – кушанье истинно райское. Даже в Библии говорится о нём. В Евангелии от Луки, где повествуется о явлении Христа ученикам уже после Воскресения, мы читаем: «Они подали ему часть печёной рыбы и сотового мёда. И, взяв, ел пред ними». (Лк, 42-43)

 Но это касается воспоминаний всего человечества; для каждого же из нас есть свои собственные «медовые» воспоминания. Так, мне с раннего детства памятна пасека – мир клубящихся пчёл, дымарей, ульев, рамок, медогонок и сот – мир, прикасаясь к которому, я всё уверенней чувствую: рай существует.

 И в этом раю – который, конечно же, есть уже потому, что мы с вами способны помыслить, представить его – не может не быть старых яблонь и ульев, стоящих под ними, запахов мёда, воска и дыма – и слитного, словно органная фуга, гудения пчёл…

 Пчеловодом был мой прадед, Денис Максимович Попов. Он прожил долго, девяносто три года, и поэтому я хорошо его помню. От старика исходил запах пасеки: запах холодного дыма, вощины и рамок – тех самых, что косо висели в сарае, на старинном кованом гвозде, вбитом в стену. Прадед был худощав, медлителен и молчалив: таким и должен быть глубокий старик – тем более, пасечник. И я его, помню, любил: хотя откуда мне, пятилетнему, было знать, что такое любовь? Я всегда волновался, увидев Дениса Максимовича, и меня всегда тянуло к нему: хотелось встать рядом с ним, прижимаясь щекой к прохладному рукаву его пиджака (старик ходил в пиджаке даже в самое пекло), и подышать тем особенным запахом дыма и мёда – который, как я теперь понимаю, был будто дыханием вечности.

 Прадед в неё, вечность, скоро и убыл; я же остался жить пока без него, в мире временном и несовершенном. Но пасека, о которой я, нет-нет, да и вспоминаю – те самые синие ульи, вольготно стоящие в тени старых яблонь – создают для меня как бы мост между жизнью – и райскою вечностью. Это воспоминание, так неразрывно слившееся с мечтой, что я уже толком и не понимаю, в прошлое или в будущее устремляется внутренний взор – когда мысли о пасеке вновь посещают меня?

 Часто думаю: неужели жизнь не подарит мне, пускай в самом конце, летний полдень, наполненный слитным гудением пчёл? Попыхтев дымарём, я медленно подойду к возбуждённому улью, гудящему, словно орган, и сниму с него крышку. Пчелиный клубящийся город, со всем своим множеством сот, со всей суетою строительства и размноженья откроется мне – поразив, и уже не впервые, таким сходством с людской, в суете и трудах протекающей, жизнью. Я выну тяжелую рамку, смахну с неё серых, легко отлетающих пчёл, увижу, что соты полны – и мысли о собственной смерти, которые в эту минуту меня посетят, не будут иметь ни особенной важности, ни интереса. «Ну, помру так помру, – как-то очень обыденно, просто подумаю я. – Не я, как говорится, первый. Слава Богу, пожил, поработал, помаялся: что ещё нужно? Жизнь идёт, пчёлы гудят, взяток нынче хороший – в такое-то славное лето не жаль и уйти…»

 МИДИИ ЛИСКИ. Что же мы, не едали изысканных блюд? Ещё как едали – вот, скажем, мидий.

 В Лисьей бухте Восточного Крыма – Лиске, как любовно её называют нудисты, что с давних времён приезжают сюда – впервые я оказался с молодою женой, в знойный день августа. Склоны хребта Эчки-Даг плыли в мареве, море сонно вздыхало, а обнажённые люди, что загорали вокруг, казались почти миражами. Откровенная нагота для нас, детей пуританской советской эпохи, была ещё непривычна, и мне в самом деле казалось, что вон те две красотки почти шоколадного цвета существуют только в моей голове, отуманенной зноем.

 Но не будешь же долго и тупо глазеть на голых красоток, забыв про жену и про море? И вот я ныряю, любуясь подводными скалами, серебристыми искрами рыб в толще бледно-зелёной воды и шустрыми крабами, что шныряют по дну. «Интересно, а что это там за ракушки на скалах, – думал я, фыркая и отдуваясь, и снова ныряя. – Наверное, мидии: что-то такое я слышал о них…» Через полчаса я наломал пару дюжин крупных мидий – и гордо показал сетку с добычей супруге.

 - Что это? – удивилась Елена.

 - Это мидии. Деликатес. Надо будет попробовать…

 Но мой голос был, видно, не слишком уверенным – и Лена смотрела на черных моллюсков с большим недоверием. Для надёжности я решил проконсультироваться у аборигенов Лиски, нудистов: в самом ли деле съедобно то, что я набрал в сетку-авоську? Выбрал двух обнажённых наяд – и направился к ним.

 - Девушки, подскажите: а вот это есть можно? – я показал свою сетку с мидиями.

 Красотки лениво взглянули на сетку, с которой сочилась вода, потом осмотрели меня – о, сколько всего было в их томных, насмешливых взглядах! – и, улыбнувшись, кивнули:

 - Да, можно…

 Одна из них, помню, с ехидцей добавила:

 - Кстати: моллюски повышают потенцию…

 В общем, эти наяды чуть меня не околдовали: я бежал от них, как Одиссей от Цирцеи.

 Но как и на чём было мидий готовить? У коктебельской старухи, сдававшей нам комнату, я выпросил старую сковородку и побрёл с ней на берег того ручейка, что течёт через весь Коктебель. Бурьян, перевитый побегами ежевики, вставал непролазной стеной – едва нашлось место для костерка. Я положил сковородку на два кирпича, развёл под ней огонь, высыпал мидий на разогретый чугун – и, в ожидании пиршества, отхлебнул из бутыли, предусмотрительно взятой с собой.

 Чем хорош Крым? Тем, что в любом его месте – хоть среди бурьяна, хоть на обочине пыльной дороги, хоть где угодно – можно сполна ощутить негу зноя и юга, покой созерцания и равновесие между собою и миром: то равновесие, что гораздо трудней обрести под неласковым северным небом. Вот и теперь, сев на жёсткую землю и слушая звоны цикад, я словно выпал из времени, места, себя самого – и блаженно поплыл, сам не зная, куда…

 Но из нирваны меня возвратил треск раскрывавшихся мидий и шкворчанье вскипевшей в их створках воды. Как я понимал, кушанье было готово. Признаюсь, с недоверием я брал в руки горячую мидийную скорлупу и рассматривал складчатый смуглый комочек, лежавший меж перламутровых створок. Вспомнился вдруг Собакевич из «Мёртвых душ», с его фразой: «Уж я-то знаю, на что устрица похожа!» Действительно, вид у моллюска был откровенный, весьма непристойный.

 А вот вкус – тот, напротив, оказался застенчиво-нежный. Что-то чуть сладковатое, отдающее солью моря и горьким дымком костерка – что-то, состоящее из полутонов и намёков, и оставляющее послевкусие неисполненного желания. Нечто подобное, помнится, я ощущал, когда девушка, которую я ожидал где-нибудь под часами, на свидание так и не приходила – и на душе у меня оставалась такая же нежная горечь, как и на языке после медленно пережёванной мидии.

 Но вдруг, разминая во рту очередной сладко-горько-солёный комочек обманного мяса, я чувствовал на зубах костяной стук – и сплёвывал на ладонь небольшую жемчужину. И до сих пор у нас где-то хранится – надо будет спросить у жены – десяток таких вот жемчужин, добытых мной в мидиях Лиски.

 МЛАДЕНЧЕСКАЯ КАШКА. Не каша, а именно кашка: речь о той «размазне», которой мы кормим наших младенцев – а потом доедаем за ними и сами.

 Но кашка, понятное дело, не сразу становится главною пищей ребёнка. Вначале всего – материнская грудь, этот, по выражению одного из чеховских персонажей, «буфет для младенца». Вряд ли, конечно, кто-то из нас может вспомнить, как кормили грудным молоком его самого; зато, наблюдая ребёнка, чавкающего и пускающего пузыри у материнской груди – каждый может представить, как это было когда-то и с ним. Мир был тогда опрокинут, нечёток, почти нереален – само его существование оставалось ещё под вопросом – но несомненной реальностью выступала тёплая, даже местами горячая, материнская грудь. Вытесняя весь мир, она и сама была целым миром: нависая, как мягко-упругое облако, она подавалась от нетерпеливых движений младенца – толчков его головы, беспорядочно шарящих ручек – но всегда возвращалась, опять вытесняя собою весь прочий, сомнительно-призрачный мир.

 Младенец у материнской груди, то засыпающий, то опять начинающий искать тёплый сосок – не лучшее ли из состояний, какие когда-либо нам были дарованы? Это был, в сущности, рай, из которого, правда, нас быстро изгнали; но до сих пор, бродя по пустыне неласковой жизни, мы храним память об этом утерянном рае.

 И вот именно детская кашка, которую мы доедаем за малым ребёнком, есть некий мост между нами – и нашим младенчеством. Задумчиво шлёпая ложкой по жиденькой «размазне» в разрисованной детской тарелке, мы, хотя бы отчасти, но исполняем наказ «быть, как дети» – то есть, в сущности, движемся в сторону рая. Состояние детской безгрешности, тихого счастья, доверия к миру, который вдруг кажется нам и заботлив, и добр – всё это, забытое и непривычное взрослому, оживает в душе рядом с детской тарелкою каши. Она – словно оклик и зов, возвращающий нас в незапамятно-давнее детство. Недаром и позже, в те дни нашей жизни, когда мы «близимся к началу своему», – то есть во время тяжёлой болезни, или в пору немощной старости – детская кашка снова становится главной, а то и единственной, пищей.

 Чем накормим больного, который так слаб, что и ложку-то сам не сумеет держать? Ясное дело, молочною жиденькой кашкой. Как говорила мне, помнится, одна санитарка: «Ешь, милый, ешь: коли серёдка сыта – так и краюшки радуются…» Ведь больному важнее всего не лекарства, не разные там перевязки да клизмы; нет, важнее всего осознанье того, что жизнь ещё не отторгла его, не забыла, не обделила заботой и лаской – раз она поднесла ему эту тарелку, которая вдруг напомнила дни далёкого детства…

 А старик – что дадим старику? Уж верно, не устриц или омаров; нет, мы тоже нальём ему жиденькой кашки. И для него вновь воскреснут далёкие – или теперь уже близкие? – дни, когда мать или бабка кормили его. Эта пресная кашка тогда ему вовсе не нравилась; но он принимал, и теперь принимает её со смирением, как условие жизни, которая в старости так же мало понятна ему, старику – как была мало понятна тогда, ещё в самом начале. «Ешь, милый, ешь – иначе не вырастешь», – говорила, заботливо и терпеливо, покойница-мать. «А зачем мне и было расти?» – думает, верно, старик (то есть тот же, по сути, ребёнок), ковыряясь дрожащею ложкой в тарелке своей – неужели той самой, за целую жизнь не доеденной? – кашки…

 МОЛОДОЙ ГОЛОД. Годы юности прошли в общежитии медиков, в комнате на семерых. И мы всегда были голодными – независимо ни от времени суток, ни от того, сколько съели еды.

 После ноябрьских праздников, когда все возвращались в общагу из дома, пространство между двойных рам окна оказывалось чуть не на треть завалено свёртками со съестными припасами. По-особому сумрачно тогда становилось в нашей комнате номер двенадцать – сумрачно, но хорошо. Сама мысль, что у нас столько сала, капусты, варенья и разных солений-квашений – она нас согревала. А согреться было необходимо: в старой общаге топили из рук вон плохо, изо ртов валил пар, а на подоконнике за ночь замерзала в стаканах вода. Вот мы и ели почти непрерывно – и на глазах убывали межоконные наши запасы. Даже ночью случалось проснуться, чтобы затеять ночной перекус.

 Бывало, бессонно ворочаешься на скрипучей казённой кровати – ноги мёрзнут, в желудке урчит – и слышишь, как в темноте так же бессонно вздыхают, ворочаясь, шесть твоих сотоварищей.

 - Эй, вы что там, не спите? – окликаешь их шёпотом.

 - Как же: уснёшь тут, в такой холодине, – отвечают тебе.

 - Да и жрать хочется! – выражает кто-нибудь общее мнение.

 Все отчего-то хохочут – мы тогда много и часто смеялись – и дружно решают вставать и готовить еду. То, что сейчас второй час ночи, никого не смущает: голод и молодость не наблюдают часов.

 С треском распахивается створка окна, и из щели меж обледенелых стёкол извлекается брусок сала. Картошка обычно хранилась в шкафу – там же, куда мы складывали пустые пивные бутылки. На то, чтоб порезать сало и почистить – в шесть рук – два десятка картошин, уходит не больше пяти минут.

 И вот мы на кухне общаги: наша большая закопчённая сковорода уже потрескивает на огне. Сало шкворчит, над картофельным белым холмом поднимается пар – и рука сама собой тянется, чтоб ухватить ещё совершенно сырую картошку. Торопливо хрустишь сочным ломтиком – вкусно! – но Коля Лозбенев, наш сегодняшний повар, возмущенно кричит:

 - Эй, не наглей – команды не было!

 От соблазна выходишь из кухни в ночной коридор. Видишь уводящий вдаль гулкий сумрак: у торцевого окна обязательно жмутся студент со студенткой, кто-то пьяный бредёт, опираясь о стену, кто-то, вынеся стул в коридор, готовится к завтрашнему зачёту – и откуда-то слышен гитарный тоскующий звон. Общага не спит никогда: она лишь притихает в ночные часы, и после дневной суматохи впадает в задумчивость и отрешённость. Мерещилось: если бродить по ночным коридорам общаги час, другой, третий – то можно встретить сам дух, сам таинственный призрак громадного этого дома, который бессонно блуждает по сумрачным лестницам и переходам.

 Но пока, вместо духа общаги, ты ощущаешь лишь запах жареной картошки. Он растекается по коридору так соблазнительно, что опасаешься: вдруг, пробудившись средь ночи, на этот запах поднимется весь наш этаж?

 А в комнате номер двенадцать, несмотря на позднее время, царит возбуждение. С круглого стола убрали учебники, смахнули сор и разложили по кругу семь ложек. Появление Лозбенева с дымящейся сковородой встречают радостными криками, и водружают сковороду в центр стола. Вот все в готовности встали вокруг – а ложки блестят в руках, словно клинки.

 - Ну, что: все собрались? Тогда вперёд! – командует повар.

 То, что происходит в следующую минуту, напоминает короткую схватку, где семеро фехтовальщиков бьются то ли друг с другом – то ли с тем чувством голода, которое и подняло нас всех среди ночи. Ложки звенят друг о друга и о сковороду, рты чавкают, ноздри сопят – и всё происходит в сосредоточенном и напряжённом молчании. Кажется, не дай Бог оказаться в центре этого коловращенья из ложек и рук: потому что тебя самого съедят так же стремительно, как и картошку – от которой остались одни только шкварки. Впрочем, нет: их уже отскребли, подобрали – странно, что сама сковородка осталась цела.

 Отдуваясь, икая, семеро сотрапезников падают по своим койкам. Все кажутся вялыми и постаревшими: словно, победив ночной приступ голода, мы победили и молодость – которая от этого юного голода неотделима. После таких полуночных пиршеств засыпал я обычно в тоске, мучась смутными угрызеньями совести. Словно я изменил сам себе, променяв молодую тревогу и голод – на вялую сытость и сонный покой. Неужели, я думал, и всю свою жизнь я вот так разменяю – на сытость?

 Ещё слава Богу, что голод – а вместе с ним юность – к утру возвращались. Хриплое, словно простывшее, радио начинало играть государственный гимн, и я просыпался: опять молодой, полный юной тревоги – и полный желания что-нибудь съесть.

 МОЛОКО. Конечно, лучшее молоко – парное, только что от коровы; но такое не каждому доводилось попробовать.
 А вот мне повезло. Студентом, работая на Смоленщине в стройотрядах, я, случалось, ходил на вечернюю дойку. Уже на закате – столбы мошкары, словно дым, колыхались над пыльной дорогой – я шёл в направлении гула компрессора, который звучал каждый вечер на ферме, на окраине Сяковки (так называлась деревня, где мы работали). Этот густой и задумчивый гул был той колыбельной, под которую в сумерках засыпала деревня. На подходе к коровнику уже было слышно мычание, звоны подойников, крики доярок; и во всех этих звуках, таких утешительно-мирных, покоя было едва ли не больше, чем в полной, почти никогда не случавшейся здесь, тишине.

 Мысленно двигаясь вслед за собой, молодым, на вечернюю ферму, я даже вспомнил имя доярки, которая разрешала мне подоить корову, чтобы потом выпить собственноручно добытое молоко. Звали её Сидоренкова Зинка – не Зина, не Зинаида, а именно Зинка – и была она полной, тугой, краснощёкой весёлою бабой. Любимой её поговоркой была: «Не зевай, Фома – на то ярмарка!»

 - Что, студент, молочка захотелось? – кричала Зинка, увидев меня. – Или коровьи титьки приятнее бабьих?

 И она хохотала так громко, что коровы начинали испуганно переступать по доскам настила. Механической дойке поддавались не все, поэтому многих коров приходилось доить и вручную; вот из этих, «ручных», Зинка выбирала какую-нибудь посмирнее, отирала ей вымя мокрою тряпкой, и совала мне в руки подойник.

 - Садись! Только подойник придерживай – Милка, холера, любит его опрокидывать.

 Я присаживался на скамеечку рядом с шумно вздыхавшею пегой коровой, зажимал ведро меж колен, и брался за тёплое, мягкое, всё в надувшихся венах, коровье тяжёлое вымя. Касание вымени – и, тем более, первые неуверенные попытки тянуть за коровьи сосцы – вызывало во мне очень сложные, путаные ощущения. С одной стороны, мне казалось, что всё происходит во сне – с какой это стати я, студент-медик, вдруг превратился в дояра? – но, с другой стороны, я догадывался, что вряд ли я прежде настолько же приближался к реальности, сам становясь её неотъемлемой частью. Всё остальное – учебники, кафедры, лекции, подружки-приятели – всё превращалось в мираж; а реальность сгущалась до колыхания тёплого, грузного вымени, до мокрых, тугих, ускользавших сосцов, и до нежного звона подойника, в днище которого вдруг ударяли первые белые струи…

 - Да не дёргай, а сцеживай! – голос Зинки доносился словно откуда-то издалека. – Вот же бестолочь: и чему вас только учат в мединституте?

 Она хохотала; корова, переступая, норовила выбить копытом подойник у меня из колен; но я усердно тянул за сосцы – и дойка мало-помалу налаживалась. Нежный звон струй о подойник становился ритмичнее – и дно оцинкованного ведра уже закрывалось слоем белого пенистого молока. Струи уже не звенели, а мягко шипели, поочерёдно вспарывая молочную пену.

 Мои пальцы, немея от непривычной работы, казались чужими; зато вымя, которое колыхалось передо мной, как живое и самостоятельное существо – вся остальная корова казалась всего лишь придатком к нему – вымя становилось всё более близким, знакомым, своим. Я уже знал, какие сосцы доятся легче, а какие труднее; и я сгонял оводов, норовивших присесть на тугое, горячее вымя – с таким раздражением, словно сгонял их с собственного лица. Передо мною, я чувствовал, была не просто живая молочная фабрика, кормившая, можно сказать, всё человечество – но передо мною сейчас была сама жизнь, с её очевидною и невероятною тайной. Да, в этом вымени, в его вздувшихся венах и горячих сосцах, за которые я усердно тянул занемевшими пальцами, белыми от молока – в нём была жизнь, к которой я только надеялся как-то приблизиться и причаститься. Вымя пахло коровой и хлевом, навозом, травой, молоком, мокрой тряпкой и жестью подойника, пахло кирзой сапог Зинки, стоявшей у меня за плечом и как-то странно в эти минуты притихшей, пахло пылью и полем, закатом, вечерним туманом, который уже начинал опускаться на Сяковку; оно пахло всем, что было вокруг – и ещё чем-то неуловимым, чего в мире как будто и нет, но без чего невозможен ни этот вечер, ни гул затихающей дойки, ни Зинка, ни я, ни корова…

 - Ладно, хватит: а то совсем ей соски оторвёшь, – Зинка, со странной досадою в голосе, наконец останавливала меня. – Ишь, присосался!

 А я, прекращая доить и с трудом разгибая затёкшую спину, вдруг догадывался, что доярка, похоже, ревнует меня, молодого – к корове. Зинке, самой ещё полной живых, нерастраченных сил – досадно, наверное, было видеть, как здоровенный студент увлекается, из любопытства и прихоти, дойкой коровы: это вместо того, чтобы заняться чем-нибудь посущественней.

 - Ты молоко-то пить будешь, иль как?

 - Буду, конечно – за тем и пришёл.

 - Ну, давай нацежу…

 Доярка, вздохнув, накрывала подойник лоскутом чистой марли и начинала лить в кружку густое и странно бесшумное – словно во сне – молоко. Когда я подносил эту кружку к губам, мои руки дрожали – напряжение дойки ещё не оставило их – а в молочной податливой пене выдувалась ямка от дыхания. Но скоро я ничего этого – ни дрожи, ни ямки –не замечал: глоток за глотком я всё больше тонул в молоке, над которым шипела белейшая пена. Казалось, не молоко сейчас льётся в меня, а я тону в нём, погружаюсь в него, словно в реку иль женщину, в ночь – или в недра глубокого сна…

 НОЧЬ ХОЛОДЦА. Была в моей жизни воистину раблезианская трапеза: при свечах, глухой ночью, когда холодец мы черпали ложками из громадных тазов – а по стенам метались и корчились наши огромные тени…

 Развесёлой компанией – только что кончили мединститут – мы приехали в небольшой городок на Псковщине, на свадьбу нашего общего друга. Накануне по этим местам прошёл смерч – старожилы, возможно, помнят лето 1986 года – и мы, пока ехали, видели из окон вагона целые полосы леса, словно прокошенные гигантской косой: деревья были обломаны ровно посередине, верхушки их беспорядочно разбросало, а запах листвы, начинающей вянуть, пробивался даже сквозь горько-мазутные запахи поезда.

 В городке, куда мы приехали ночью, света не было: смерч везде оборвал провода. Жених Николай встретил нас с фонарём и повёл к себе в дом – где, несмотря на позднее время, полным ходом шли приготовления к свадьбе. Мать жениха, тётя Римма, встретила нас, как родных – но чем-то явно была озабочена.

 - Что случилось, тёть Рим? – поинтересовался я.

 - Ох, и не спрашивай – прямо беда! Холодца наварили три таза, а теперь его хоть выбрасывай. Электричества нет, холодильники не работают: боюсь, наш холодец до свадьбы не доживёт.

 - Так давайте, мы прямо сейчас его и съедим: чего зря добру пропадать?

 - И то правда, - обрадовалась хозяйка. – Выручайте, ребята!

 И вот на столах стоят три таза холодца, горят свечи – а мы, оголодавшие после дороги, да ещё подогретые водкой, которой тут оказалось два ящика (напомню: то было время «сухого закона»), начинаем столовыми ложками черпать из тазов подтаявшее заливное. Это был не то жидкий студень, не то что-то вроде грузинского «хаша», не то мясной суп, столь густой, что в нём ложка держалась стоймя – что-то, в общем, исключительно вкусное.

 А ведь в приготовлении этого блюда участвовал, ни много, ни мало – сам смерч, что пронёсся недавно. Не повали он столбы, не порви провода – разве выпало б нам это ночное обжорство? Свечи мерцали, громадные тени метались по стенам, гвалт хмельных голосов становился всё беспорядочней –такой удивительной трапезы ни до, и ни после мне в жизни не выпадало. И отчего-то мне кажется: тени «Ночного дозора» Рембрандта лежат на фигурах, предметах и лицах, которые вспоминаются в эту минуту. В той полунощной трапезе было что-то могучее, полное тайны и страсти – и что-то, увы, обречённое, как и сама наша жизнь. Куда подевались и где расточились те силы, что были и в нас, молодых – и в огромных тазах холодца, который мы поглощали так жадно, как будто ели последний раз в жизни?

 А куда рвутся герои «Ночного дозора», красавцы в плащах и ботфортах – в кого они целят мушкеты и шпаги? Разве знают они, что станется с ними со всеми – когда новый день сменит тени и сумерки их ночного дозора?

 ОБЩЕПИТ. И что же хорошего было в той придорожной столовой? Там было шумно, накурено, тесно; по стёклам сёк дождь; шоферня материлась, ругая погоду, дорогу, начальство. В ногах чавкала жижа и катались, гремя, пустые бутылки: принесённую водку, таясь от буфетчицы, разливали под столиками, там же и оставляя порожнюю стеклотару. Так уж здесь было принято – такая здесь шла игра под названием «со своими спиртными напитками – запрещено».

 Конечно, мир той «стекляшки» в посёлке Стодолище, где мы пережидали дождь по пути в стройотряд, мог бы кому-то казаться ужасен и груб, неопрятен, почти первобытен. Но мне он казался воистину раем. Я хмелел там не столько от пива, сколько от самой атмосферы густой, герметической жизни, кипевшей вокруг. Я дышал уж не воздухом, а крепчайшим настоем из дыма и пота, шофёрского мата, перегара, бензина, сапожной кирзы, из звона стаканов и звяканья ложек, из грубого смеха над чьей-нибудь грубою шуткой, из крика-призыва: «Танюша, ещё гуляша!» – да из гула машин, проносившихся по шоссе мимо мутных, забрызганных стёкол дорожной столовки. И я испытывал там глубочайшее чувство покоя. Да что говорить, если даже шум ссоры, которая вдруг разгоралась в углу и вполне могла кончиться пьяною дракой – если даже шум ссоры не только не разрушал это чувство покоя, но как бы ещё укреплял ощущение слитности общей жизни, которая окружала тебя, словно дымное, тёплое, густо гудящее облако…

 И, чем более шумным, угарным и грубым был мир придорожной столовой, тем более я ощущал его нежность, его доброту – и свою с этим миром сроднённость. Уж меня-то никак не могло обмануть ни хрипенье прокуренных глоток, ни оскалы зубов, меж которых торчал «Беломор» или «Прима», ни хруст кулаков, на которых синева вздутых вен была смешана с синевою татуировок. Это был мой, родной мир – и я верил, что уж он-то меня не предаст и не выдаст, не выгонит вон, не оставит меня замерзать на стылом ветру одинокой судьбы.

 И, пока я жил там, в недрах общей и слитно клубящейся жизни – я словно был защищён от возможных невзгод и напастей, лишений и бед. Потому что какая беда отыскала б меня в том густом и прокуренном сумраке – где и сам-то себя я не мог отыскать?

 Да, это был герметический мир – мир, закрытый, словно парник или оранжерея – все его обитатели были равны меж собою и жили по правилам, общим для всех. И блюда, которыми нас там кормили, тоже были едины для всей необъятной страны: «Общепит», он и есть «Общепит».

 Усреднённым, единым и общим там было всё: от заветренных образцов блюд на витринах, от тарелок с синим овальным клеймом «Общепит» и гранёных стаканов, от солонок с намокшею солью и банок засохшей горчицы – до имён подавальщиц или буфетчиц, которые могли быть только Зинками, Клавками, или, на крайний случай, Татьянами. В каком городе или посёлке ни зайди вот в такое кафе – всюду встретишь и толстую Клавку-буфетчицу, и фикус в углу (его кадка всегда была полной окурков), васнецовских «Богатырей» на стене, встретишь спирали коричневых лент-мухоловок, свисающие с потолка, и всюду почувствуешь: ты здесь свой, ты – на родине.

 И ещё – может, это и было важнее всего – ты всегда был уверен, что этот привычный, знакомый до скуки, уныло-родной мир советского «Общепита» – он так же незыблем и вечен, как какие-нибудь Гималаи. На что время могло покуситься в том мире, где нет никаких перемен, где всё так однообразно-едино, где всё словно спит в вечном сумраке?

 До сих пор непонятно: куда же всё это девалось? Где тот гуляш и тот огненный борщ, где Клавка-буфетчица с её необъятною грудью, где фикус в кадке, где варёные яйца с синим клеймом на боку, где водка «Столичная» за пять двадцать пять, где гул разговоров в табачном дыму – где вся та грубая, нежная мощь общей жизни, что так густо клубилась, дышала, жила меж прокуренных стёкол в те баснословные годы, когда я был так ещё молод, а страна, что меня воспитала-вскормила – уже незаметно, но неудержимо рушилась в пропасть?

 ОГУРЕЦ. Что ж, настала пора описать огурец. Но какой огурец мы сейчас вспомним? Молодой ли, в колючих и нежных пупырышках, только что с грядки, с ещё не засохшим цветком – или сизый, матёрый, с прилипшею веткой укропа, извлечённый из кадки с ядрёным рассолом?

 Хорош что один, что другой; но, пожалуй, начнём с огурца молодого. Его ещё нужно найти – поворошив огуречные плети на грядке. Июльская ночь была тёплой – в такую как раз и растут огурцы – а утро случилось росистым и свежим. Твоя рука, шарящая в шершавой узорной листве – уже мокрая. Но вот, наконец, замечаешь огурчик: он торчит как-то робко, ещё не касаясь земли, и весь серебристо-белёс от росы. Вот такие-то, в палец длиною, вкуснее всего: когда, оторвав его от потянувшейся дрогнувшей плети, обтираешь колючий сырой огурец о штаны – он становится ярко-зелёным, блестящим, и в воздухе распространяется его свежий запах. Так пахнет, можно сказать, само огуречное лето: парное, обильное зноем и грозами, с непременной окрошкой на сытном столе, с долгим тихим закатом, и со свистом стрижей над коровьими спинами – когда стадо, устало мыча, возвращается с выпаса.

 - Огурцов нынче – пропасть! – слышишь, как сокрушается какая-нибудь деревенская бабка. – Уже и не знаю, куда их девать.

 - Ох, соседка, и не говори! – раздаётся в ответ. – Вчера засолила аж две кадушки. Мой мужик столько водки не выпьет – сколь теперь у нас в доме закуски.

 А закуска, и впрямь – первый сорт. Особенно, если огурцы не из банок, а именно из кадушки. Сверху их прикрывает деревянный кружок – который отрывается от рассола с таким вкусным чмоканьем, что хочется укусить уже его край: мокрый, пахучий, с прилипшим вишнёвым листом. А в сизо-молочном рассоле, меж смородинных листьев и веток укропа, видны словно спины зелёных пупырчатых рыб.

 - Тебе какой огурец выбрать, парень? Побольше, поменьше? –продавщица туга, молода: она и сама, словно крепко засоленный, бодро хрустящий огурчик.

 - А вот такой, на пол-локтя! – твой жест получается очень уж откровенен, и баба хохочет.

 - Такой, говоришь? Я давненько таких не видала…

 Сдвинув к локтю рукав и запустив руку в кадку, пошарив в рассоле, весёлая баба торжественно извлекает добычу. Да, огурец и впрямь царский – не огурец, а целая подводная лодка! Рассол льётся с него, свисают, как водоросли, нити укропа, а зимнее солнце сверкает на бородавчатом – будто в заклёпках – борту.

 - Отрезать на пробу?

 - Ну, отрежь…

 Огромным ножом – таким колют свиней – торговка отхватывает кусок огурца и стряхивает, прямо с ножа, тебе на ладонь. Немного есть запахов, столь же бодрящих – как запах солёного огурца из кадушки, да ещё в зимний солнечный день, на гудящем предпраздничном рынке. А когда начинаешь хрустеть огурцом – то аж передёрнет: словно ты проглотил не кусок огурца, а стакан самогона.

 - Что, хорош? – интересуется продавщица.

 - Ох, и хорош! - отвечаешь ты ей, и вы оба смеётесь – сами толком не зная, чему…

 Этот сизый кадушечный огурец как-то словно встряхнул, оживил и тебя – и весь мир, что шумит и клубится вокруг. И ты уже с новым, живым интересом смотрел и на эту весёлую бабу в овчинном тулупе – до чего ж хороша! – и на весь огуречно-капустный засолочный ряд, на толчею гомонящего зимнего рынка, на дымы, что встают над морозной Калугой, и на блеск куполов, отражающих зимнее солнце…

 ОЛИВКИ. Вспоминая о Греции, первым делом представляю рощи олив. Издалека их струящийся и переливчатый блеск примерно такого же цвета, как серебристые вётлы по берегам русских рек; и, когда ветер бежит по оливковым рощам, то кажется, что по ним катят волны то бледно-зелёного, то серебристого моря.

 Когда же рассмотришь оливы поближе – поражает их узловатая, жилисто-грубая мощь. Каждый ствол перекручен в мучительный жгут; корни торчат из сухой каменистой земли, как колени рожающей женщины; ветви выгнуты так, что на них больно смотреть. Дерево выглядит так, словно кто-то обрёк его на бесконечные роды, с натугой и болью которых олива давно уж смирилась, и даже находит отраду в таком вот усилии непрерывного преодоления. Каждое дерево – словно Атлант, на котором лежит груз всего мироздания; порой кажется: именно это усилие напряжённых стволов и ветвей держит мир на последней, сомнительной грани между существованием и небытием.

 Ну, а что же рожают могучие эти деревья? Оливки, которые собирают обычно с расстеленных по земле полотнищ – после того, как постучат по стволам и ветвям колотушкой – они с виду вовсе неаппетитны. И кто, интересно, додумался есть эти зелёные, жёсткие, костяные плоды? Но ведь додумались, и не просто стали их поедать, а положили оливки в фундамент всей кухни Средиземноморья: грек без оливок – как русский без чёрного хлеба.

 Может, в Греции просто-напросто больше и нечего есть? Ведь земля там суха и скудна; что, кроме олив – да ещё винограда – могло вырасти на белёсых и пыльных античных холмах? Не забудем, что древние греки питались так просто и скудно, что вряд ли кто ныне способен им в этом следовать. Оливки, козий сыр, хлеб – вот и всё, чем кормились творцы античной культуры. Мясо случалось им есть только в дни праздников, когда забивали жертвенных коз и быков. Вино? Да, вино они пили; но разбавляли его водой в два с лишним раза – превращая вино в розоватый, почти не хмелящий, компот.

 Я как-то пробовал пообедать именно так, как это делали древние греки. Это было на родине спорта, в деревне Олимпия. Как раз удалось пробежать, по жаре и пыли, один греческий стадий – по тому самому стадиону, где побеждали олимпионики древности. Что ж, решил я, надо теперь и потрапезничать так, как они: оливками, сыром и хлебом.

 Но мой заказ в ресторане, где мы обедали, вызвал почти замешательство: современность ушла от античности несколько больше, чем на один стадий. После настойчивых переговоров мне всё-таки принесли брусок козьего сыра, тарелку солёных оливок и несколько ломтиков хлеба – причём взяли за это, как за полноценный обед.

 Что сказать об античной еде? Врать не буду: едал я кушанья и повкуснее. Но я был счастлив уже оттого, что сумел – причём дважды: и на стадионе, и за этой вот трапезой – прикоснуться к античности, так сказать, напрямую: не одним лишь умом, через чтение книг – но и всем существом, через мышцы, дыхание, сердце, язык и желудок. На какое-то время я перестал быть туристом и сделался словно бы греком: как древний грек, я смотрел на холм Хроноса, возвышавшийся над руинами храма Зевса, на пинии и обломки колонн между ними, слушал жёсткие трели цикад, бормотание горлинок, шарканье ног по истёршимся плитам и гомон толпы – то есть видел и слышал почти то же самое, что и зрители древних Олимпиад. Зной густел – или это густело само задремавшее время? – и только солёная горечь оливок, которые я запивал кислым местным вином, не позволяла мне окончательно впасть в забытьё, раствориться в горячем и радостном воздухе Греции…

 ОМАР. Нагулявшись по итальянскому Римини, вечером мы посетили театр рыбного ресторана. Это был именно театр – то есть представление, в котором мы являлись и зрителями, и актёрами одновременно. Официант, брутального вида мужчина со шрамом на левой щеке – он напоминал мафиози средней руки – обсуждал со мною меню вполголоса, с таким скорбным, серьёзным лицом заговорщика, словно речь шла о плане свержения власти в стране. Вино, которое выбрал я, он решительно забраковал. «Но’,синьор, но’! – трагически морщился он, словно мой выбор причинял ему нестерпимую боль. – Что до меня, я бы выбрал вот это…» Он указал на тосканское белое урожая 2005 года; я согласился; официант вытер со лба пот с таким облегчением, словно мы с ним только что избежали опасности, грозившей разрушить наш с ним заговор.

 Мы (то есть я, жена, дочь) заказали: полдюжины гребешков, рыбу на гриле, тигровых креветок под солью и, наконец – гулять, так гулять! – диковинного для нас омара. Ужин шёл своим чередом – вино оказалось и впрямь неплохим, рыба – отличной, креветки чуть суховаты – но, когда в зал ресторана внесли поднос со сверкавшими хирургическими инструментами, я понял, что с омаром, кажется, погорячился. Не имея понятия, зачем в ресторане нужны рёберные кусачки Листона, я выглядел, должно быть, растерянным. Недаром и наш официант-мафиози, и его молодые приятели поглядывали на меня с любопытством и плохо скрытой насмешкой: дескать, сейчас позабавимся, наблюдая, как этот русский будет мучиться с омаром! Может, так и оставит его неразделанным? То-то будет потеха…

 Скоро внесли и этого жуткого зверя-омара: его глазки смотрели колюче и зло, огромные бородавчатые клешни торчали угрожающе, усы в локоть длиною, покачиваясь, свисали с овального блюда – это бронированное страшилище напоминало дракона, который вот-вот оживёт, и тогда непременно нас всех растерзает. Официант грохнул на стол тяжеленное блюдо, и скосил на меня издевательский глаз: ну, что ж, дескать – воюй!

 Отступать было некуда. Я вздохнул, взял тяжёлые, холодившие руку, кусачки – и ринулся в битву. Осколки панциря полетели во все стороны – один из них ударил мне в грудь, другой в потолок, а третий, кажется, угодил в лоб стоявшему за моей спиной официанту. Тот застонал, отшатнулся – его молодые товарищи захохотали – но я, не обращая внимания на неизбежные в воинском деле потери, продолжал сокрушать упорно сопротивлявшегося дракона. Компания официантов, похоже, была разочарована: эти парни явно ждали иного исхода. Но откуда же им было знать, что мой хирургический стаж двадцать шесть лет, и что русских омаром не испугаешь?

 Минут через восемь всё было кончено. Стол был усеян осколками панциря и забрызган масляным соусом, я отирал салфеткой лицо и руки – а официант-мафиози, склонившись ко мне, уважительно прохрипел по-английски: «It was beautiful…» – «Это было великолепно…»

 Вы, может быть, спросите: вкусен ли был этот самый омар? Но вкуса его я почти не запомнил: уж очень непросто достались мне эти комочки белого и сладковатого мяса. Но точно помню, что после битвы с омаром я вышел из ресторана голодный и протрезвевший, с пустым кошельком и с чувством недоумения: зачем мы вообще сюда заходили? Ради, разве что, шоу – которое, правду сказать, удалось.

 ОРЕХИ ИМПЕРИИ. Не странно ли, что моё ощущенье империи – чувство, так близкое русскому и так мало понятное большинству иностранцев – начиналось с пакетика чищенного фундука?

 Это случилось ночью, на тульском вокзале, в бессонной и возбуждённой толпе, наполняющей зал ожидания. Мне ещё не было и пяти лет; мать с отцом перевозили меня из курской деревни, где я жил под присмотром бабушки Марии Денисовны – на новое место, в Калугу. И вот в Туле, всего в сотне вёрст от Калуги, мы застряли на целую ночь.

 Вообще, тульский вокзал – тема особая. Сам зал ожидания, где мы приткнулись возле своих чемоданов, был настолько громаден и гулок, что целиком я его как-то и не воспринимал: это было нечто, выходящее за пределы моих детских понятий и чувств. Потолок мне казался высоким, как небо, а стены далёкими, как горизонт. Стенные же росписи (они сохранились, как это ни странно, доселе) изображали какую-то стройку с огнями и дымными трубами, ещё какое-то многолюдное шествие с флагами и счастливыми лицами – но это всё мне было мало понятно. Только сельский знакомый пейзаж – речка, домики, купы деревьев – помню, немного меня примирил с монументальным искусством вокзала. Но, всё равно, на вокзале было тревожно и неуютно. Голоса объявлений в динамиках звучали зловеще-невнятно, со скрытой угрозой; бесконечный поток пассажиров то и дело распахивал створки тяжёлых дверей, и по гулкому залу протягивал горький, углём и мазутом напитанный, ветер. Когда же снаружи стучали составы, весь зал начинал напряжённо дрожать – так, что даже звенела громадная люстра над головами.

 Зачем, думал я, мы уехали из деревенского нашего дома, где всё было тихим, родным и знакомым – где даже соседские гуси, и то узнавали меня, и уже не шипели, когда я бежал по проулку на выгон? Зачем эти гулы и гуды, и этот сквозняк, это шарканье множества ног, этот гвалт голосов, эти груды узлов, чемоданов и сумок? Эти люди – куда они едут? Разве им так уж плохо жилось в их домах, на привычных местах – что за сила сорвала их с места и гонит куда-то?

 Ко всему – а, быть может, как раз от знобящего чувства тревоги – мне приспичило, что называется, «до ветру». Я подёргал отца за рукав, и он повёл меня в вокзальный сортир.

 Впечатление от посещения этого грандиозного заведения осталось незабываемым. Во-первых, уже на подходе мои глаза заслезились от резкого запаха хлорки и аммиака – и я видел всё сквозь какую-то слёзную муть. По жиже, которая хлюпала на цементном полу, мы с отцом подошли к высоченной и мокро блестящей стене. Под ней, по наклонному серому жёлобу, журчал ручеёк – а по самому верху стены тянулась ржавая дырчатая труба.

 - Отливай вон туда, - отец указал мне на серый жёлоб.

 Смущаясь всего – и отца, и людей, и резкого неприятного запаха, и влажного блеска стены с трубой наверху – я начал копаться в одежде, пробираясь к причинному месту. И вот тут – никогда не забуду тот ужас, который меня охватил – наверху заурчало-завыло, труба затряслась – и из дыр её рухнул бешеный, пенный и ржавый поток! Сначала я обмер – казалось, меня самого смоет этот гудящий и содрогающийся водопад – а после, поддёрнув штаны, припустил наутёк.

 Так первая встреча с вокзальным сортиром окончилась моим полным фиаско. Уж не помню, как меня настигали, ловили; но зато помню, как моя мать, утешая сына после только что пережитого им потрясения – и сама не зная, плакать ей или смеяться от всей этой трагикомедии – как она угощала меня чищеными лесными орехами. В кулёчке были только отборные, смуглые ядра, и я изумился: да кто же взял труд все эти орехи почистить? Хорошо помню, что этот кулёчек орехов потряс меня чуть ли не большее, чем недавно – рычащая Ниагара сортира.

 Ведь я, мальчик почти деревенский, хорошо представлял себе, что такое – расколоть хотя бы один орех, чтобы выковырнуть из скорлупы всего одно ядрышко, часто к тому же морщинисто-кислое или червивое. То колотишь по скорлупе каким-нибудь камнем – а орех улетает, как пуля, в дорожную пыль – то мусолишь орех меж своих слабых зубов, безуспешно пытаясь его раскусить, то находишь в сарае у деда щипцы-гвоздодёры, но в их челюстях орех держится плохо, и вот уже ты орёшь благим матом, прищемив себе палец… В общем, раскалывание всего одного ореха – и то превращалось в сложное, часто и вовсе неразрешимое, дело. А тут вдруг тебе предлагают целый кулёк уже чищеных – и поразительно вкусных! – орехов.

 - Где же ты их взяла? – изумлённый, спросил я у мамы.

 - Они продаются вон там, в буфете, - улыбнувшись, сказала она. - Да ты ешь, ешь…

 И вот те чищеные лесные орехи – они, как я после узнал, назывались «фундук» – оказались для меня связаны не просто с дорогой, но именно с тяжеловесной, имперскою мощью вокзала. Тогда, пятилетний, я уже смутно почувствовал, что есть некая сила, которая может не просто воздвигнуть вот этот громадный и гулкий вокзал, не просто построить в ней туалет со стеной-водопадом – но способна и на совсем уже невероятные вещи: например, она может начистить целый кулёк отборных орехов, и запросто угостить меня ими. Да, думал я, потрясённый – видимо, эта сила и впрямь всемогуща…

 Конечно, тогда я не знал ни названия, ни источника этой таинственной силы. Но хорошо помню то чувство благоговения, которое я испытал. Это было именно благоговение – то есть смешанный с восхищением ужас – и это было, как я понимаю теперь, моё первое прикосновенье к империи. Уже после, в той жизни, которую мне ещё лишь предстояло прожить, я встречу множество разных вещей и событий, которые оживят во мне это имперское чувство. Услышу ли я, как ритмично вздыхают басы духового оркестра, или увижу, как грозен и сумрачен взор чугунного маршала на пьедестале, или прочитаю тяжеловесно-имперские строки Державина – или, услышав гудок тепловоза на дальних путях, подумаю: «И велика же Россия…»

 ОСТАТКИ ЕДЫ. Вот кто-нибудь мне объяснит, почему я всю жизнь так радовался, доедая остатки: последние ложки и ломти, то, что осталось на донце кастрюли или на бортиках сковороды? Что это: скрытая тяга к юродству? Или это стремление освободиться от пут, налагаемых жизнью – доесть уж последнее, чтоб ничего не осталось! – и оказаться свободным от пищи, от быта, от всяких житейских хлопот и забот – даже, быть может, свободным и от себя самого?

 Начинать поедание блюда – особенно праздничного, любовно украшенного хлебосольной хозяйкой – мне всегда было как-то неловко. Казалось, что я недостоин вторгаться в торжественный кулинарный шедевр, разрушая его, словно варвар – святилище. Как это: взять, да сломать розовеющий холм какой-нибудь «сельди под шубой» или, тем более, грубо обрушить башни и своды торта, напоминающего средневековый замок в миниатюре? Нужно слишком любить себя самого, чтобы бестрепетно, с полным сознанием права и силы, сокрушать труды чужих рук – да ещё получая от этого удовольствие. К сожалению – или, может быть, к счастью – такой любви во мне нет, и потому за столом праздничным я всегда себя чувствую лишним и как бы незваным.

 То ли дело: увидишь, бывало, кастрюльку с недоеденной детками кашкой – и, даже не разогревая её, поставишь себе на колени, усевшись где-нибудь в кухонном уголку. То, что ты будешь делать сейчас, называется даже не «есть», а «подъесть» – подобрать те остатки, которые, если бы ты не наткнулся на них, были бы, скорей всего, выброшены.

 И вот только в остатках еды я ощущал настоящий вкус пищи и настоящую радость общения с ней. В такие минуты с кастрюлькой в руках любая каша – даже столь нелюбимая детками манная – казалась тебе настоящею манной небесной. Каждая ложка была словно бы подаянием, которое ты принимал со смирением и благодарностью – то есть именно так, как и надлежит принимать подаяние. Особенно сладки бывали остатки остатков: то, что ты отскребал со дна и со стенок кастрюли. Орудуя ложкой, ты и мычал, и сопел от удовольствия, которое омрачала лишь только его скоротечность: кашка, увы, исчезала быстрее, чем я пытаюсь сейчас описать, как её доедал.

 Я уверен: любой, доедающий кашку младенца – становится, пусть на время, но лучше себя самого. Согласитесь, что человек, подъедающий кашку из детской кастрюльки, в этот момент неспособен к злодейству, предательству, даже просто-напросто грубому слову: ангел детства витает над ним, осеняя своими крылами. И разве можно сравнить эту детскую кашку с каким-нибудь, брызжущим кровью, бифштексом? И человек, поедающий то – и другое: разве это один человек? И когда – за бифштексом иль кашкой – он будет ближе к себе, настоящему? Недаром же пост – то есть жизнь на остатках, на самой непритязательно-скромной еде – является старым, испытанным средством очищения и обновления человека.

 Эта особенность – любовь к подъеданью остатков – всегда проявлялась во мне и во время походов. Идёшь, например, укладывать в лодку мешок с провиантом, увидишь, что там остаётся всего ничего – полпакета крупы, пара луковиц, да пяток сухарей – и почувствуешь, как твой рот сам собой расплывается в непроизвольной улыбке. А причина-то этой нечаянной радости в том, что осталось так мало еды, и придётся теперь или поголодать, или всерьёз приниматься за рыбную ловлю.

 Тут дело, скорей всего, в том, что, оставшись совсем без еды – мы готовы отдать себя воле и милости Божьей. «Бог даст день – Бог даст и пищу» – всё слышней начинает звучать в наших душах народная мудрость. Будет клёв – будет рыба; подвернётся хороший лесок – наберём подберёзовиков или лисичек; встретим малинник – полакомимся малиной. Ну, а если не будет ни того, ни другого – поголодать, оно тоже не вредно.

 Доедая остатки, мы избавляемся от иллюзии нашей самодостаточности (то есть, по сути, гордыни) и передаём себя попечению свыше. Мы становимся, в полном смысле, «у-богими» – теми, кто жив только милостью Божьей. И поэтому только, пожалуй, в походах, когда иссякают запасы еды, я становлюсь вполне сам собой – совпадая с той редкой фамилией, что мне досталась от предков.

 ПЕКАРНЯ. Некогда, проходя под дождём по окраине смоленского села Студенец, я набрёл на красно-кирпичное здание сельской пекарни и зашёл внутрь; а теперь и во снах, в их расплывчато-путаных дебрях, я снова и снова выхожу всё к тому же приземисто-грубому зданию, что краснело над склоном оврага. Я опять ощущаю дрожжевой хлебный запах, который так неожиданно было почуять среди запахов лиственной прели, грибов и опилок, золы и намокшей извёстки – среди запахов сельской осенней окраины.

 Когда я, пригнувшись, входил внутрь пекарни – меня обдавало таким густым хлебным духом, что сам воздух, казалось, можно откусывать и с наслажденьем жевать. Духота и жара здесь была нестерпимая: по лицу тёк пот, и рубаха липла к спине. В сумраке двигались женщины в белом: их халаты были надеты прямо на голое тело – и могучие зыбкие груди отчётливо были видны через влажную ткань. Моего появления никто, кажется, не замечал: бабам-пекарям было не до меня. Вот я тихо присел, отирая лицо, на мучную скамеечку возле стены. Взгляд то и дело выхватывал что-нибудь новое: чан с опарой, решёта, ухват, кочергу, бруски серых дрожжей на столе – или счетверённые формы для выпечки хлеба. Всё здесь было покрыто мукой; даже воздух насыщен был тонкой мучнистою пылью: она то слоилась, как дым, под едва тлеющей лампой – то взлетала клубами, когда кто-то из женщин лил воду в чугунный, мукой припорошенный, чан.

 Но всего интереснее было то, как дышала опара. Чугунные чаны, в которых она подходила, казались живыми: в них шевелилась землистая вязкая масса. Вот тяжёлая, сонная туша опары вздувалась горбом – из её глубины поднимался пузырь – потом пузырь лопался, и его лоскуты оплывали по стенкам… Отчего-то – быть может, по совпадению звуков? – мне вспомнился академик Опарин, чью теорию о зарождении жизни упорно вбивали нам в головы в школе. Сейчас её мало кто помнит – первичный бульон, грозовые разряды, комочки белка, что сбивались, как масло во время пахтанья – но, когда я смотрел на живую, вздыхавшую и опадавшую массу опары, когда слышал те вздохи и всплески, которыми сопровождался процесс созревания теста – то мысли Опарина о самозарождении жизни не казались такими уж дикими.

 Из забытья – я, похоже, заснул в своём сне – меня выводил звон заслонки печи. Молодуха с распаренным потным лицом запускала в печь кочергу – и с грохотом выволакивала оттуда чугунные хлебные формы. Жар, и так нестерпимый, становился настолько силён, что глаза начинали слезиться. Но огненной, с алым лицом, молодой рыжей бабе этот жар был привычен – в ней и самой было жара не меньше, чем в раскалённой печи – и она, весело перекликаясь с товарками, гремела тяжёлыми хлебными формами по большому столу. Вот она с грохотом опрокидывала лотки – и на столе появлялись бруски золотистого, чуть подгоревшего, хлеба.

 - Эй, студент! – слышал я оклик. – Хочешь хлебушка?

 Я вставал со скамьи, делал шаг и протягивал руку – а румяная баба огромным ножом отсекала мне треть горячей буханки.

 - Только сразу не лопай, – смеялась она. – А то кишки сварятся!

 Бабы-пекари лили воду, таскали мучные мешки, раскладывали по формам тягучее тесто, гремели печными заслонками, двигали чаны и что-то кричали; но вот сумрак сна как-то странно редел, голоса перекликавшихся женщин становились всё выше и отдалённей – и я просыпался…

 ПЕЧЁНЫЙ КАРТОФЕЛЬ. Стоит подумать о детстве, как в памяти возникают картины, сначала размытые и наплывающие друг на друга. Но в череде этих образов едва ли не самым отчётливым будет то, как я, щурясь от жара, палкой выкатываю из мерцающей угольной груды обгорелые клубни картофеля. Выходит, картошка – своего рода ключ к детству; и, стоит вложить этот ключ в замки памяти, как двери прошлого туго расходятся, и открывается анфилада из комнат, уводящая в зыбкий сумрак былого.

 В самой дальней из комнат, какую я вижу, мне года три. На огородах Выгорного только что выкопали картошку, и бабушка вилами сгребает сухую картофельную ботву. Эта ботва лежит рыхлыми кучами, напоминающими кровли хат в нашей деревне. Да, я застал ещё время, когда кровли были картофельными, а полы – земляными; помню, как было приятно нырнуть от жары в двери хатки, накрытой огромною шапкой курчавой ботвы, и ощутить босыми ногами прохладную гладкость земли. И пахло в тех хатах обычно всё той же картошкой – варёной, толчёной и киснущей с хлебными корками для поросёнка (тут я отсылаю читателя к букве «ч»: «чугунок поросёнка»).

 Но вернёмся на верхние огороды. Что мне, трёхлетнему, было всего интересней? Конечно, костёр. А, кроме сухой картофельной ботвы, там жечь было нечего – и бабушка, сдавшись моим уговорам, подпаливала кучу ботвы. Поначалу огня было мало, зато много дыма: густого, молочного, растекавшегося по земле. В этом дыму слышался треск, и время от времени мелькал язык алого пламени.

 Подобрав с земли пару картофелин, я бросал их в костёр. А огонь поднимался всё выше и трещал всё азартней; докрасна раскалённые плети ботвы какое-то время держали свою хрупкую архитектуру, и костёр напоминал рыхлый клубок раскалённой, светящейся шерсти. Но скоро всё рушилось, взлетал сноп искр, и на пепелище лежали, чернея, лишь два обгорелых картофельных клубня. Вот их-то я и выкатывал палкой.

 - Бабушка, ешь! – кричал я. – Знаешь, как это вкусно?

 Бабушка делала вид, что кусает горелый бок клубня, смеялась – а следом хватал свой обугленный клубень и я. Горячий, он пах очень вкусно и сытно – но зубы, вгрызаясь, хрустели в непропечённой картошке, как в яблоке.

 На то, чтобы научиться запекать картошку, у меня ушло лет пятнадцать. Всё детство и отрочество приходилось либо грызть непропечённые клубни, утешая себя поговоркой «горячее сырым не бывает» – либо хрустеть коричневыми угольками. Не получалось у нас, пацанов, угадать ту минуту, когда нужно раскапывать угли и выкатывать картофелины из костра.

 Настоящую, правильную картошку я смог испечь лишь где-то ко времени окончания школы. Это было в ясный день октября, на берегу речки Калужки. С отцом и матерью, тогда ещё совсем молодыми, мы развели костерок и дождались, пока нагорит достаточно углей, обернули картофель блестящей фольгой – эта новинка тогда только входила в наш быт – и закопали сияющие картофельные шары, напоминавшие ёлочные игрушки, в розовый ворох мерцающих углей. Сидели бок о бок, смотрели с обрыва на реку – на то, как она бесконечно сплетала жгуты своих струй, завязывала и распускала узлы водоворотов – и как изумрудные космы водорослей мотались в тугой, напряжённой струе, словно с кем-то прощаясь… День был настолько хорош, что казался ненастоящим. Золото листьев и небесная синь наполняли его; вот-вот, казалось, день хрупко треснет, как ваза, не выдержав сам же себя – своей яркости, ясности и чистоты – и от ожидания этого становилось даже тревожно.

 И вот тут – очень кстати – ты чувствовал сытный, надёжный картофельный запах, который горячими волнами тёк от костра. Этот запах, он создавал как бы фундамент, на котором всё остальное – то хрупкое, из чего состоял весь сегодняшний день – хруст подмёрзлой травы, синева в белых облачных перьях, бормотанье реки, желтизна облетающих лип, паутина на ветках – всё становилось устойчиво-прочным, таким, что уже не боялось исчезнуть, как сон или дым. Картофельный дух придавал всему основательность и достоверность: он убеждал нас в реальности мира, сиявшего золотом и синевой.

 А уж когда не один только запах, а сами дымящие клубни лежали на ярко-зелёной отаве – тогда чувство тревожного ошеломления этим солнечным днём сменилось покоем и осознаньем того, что, раз существует картошка, которую мы сейчас будем разламывать, крупно солить, а потом с наслаждением есть – то и всё, что мы видим вокруг, никуда не исчезнет, а будет и дальше уверенно радовать нас…

 ПЕЧЬ. Не так уж и много в русском языке слов, которые являлись бы одновременно и существительным, и глаголом. «Печь» как раз из таких; и мне сейчас надо решить: описывать ли процесс приготовления блюд – то, как их следует печь – или спеть оду печи, как архитектурному сооружению?

 Чувствую, перевешивает второе. И уже чешутся руки: так хочется написать про растопку печи, про так, по-разному пахнут дрова – осина кислит, а берёза горчит – как стынут руки, пока несёшь в дом стопку мёрзлых поленьев, и с каким костяным перестуком они высыпаются на пол у дверцы печи. А как приятно именовать печные детали: колосник, поддувало, загнётка, заслонка? Это, видимо, генная память: не так уж и часто я сам растапливал печь – но кажется, что я это делал всегда, и на смертном, как говорится, одре не позабуду нехитрые навыки истопника.

 Веселее всего топить печь берёзовыми дровами. Прежде, чем складывать в стопку поленья, с треском оторвёшь лоскут бересты – это будет растопка – и вдохнёшь его свежий, с горчинкою, запах. Всегда кажется: на бересте что-то написано, что из этих вот крапин и точек, рассыпанных по её золотому исподу, можно составить слова – только жаль, я не знаю ключа к языку бересты. И всегда жаль поджигать бересту, наблюдая, с какой безоглядной готовностью она отдаётся огню. Алое пламя коптит, чернеющий завиток сам собою свивается туже – и, если сунуть горящую бересту под поленья, то уже через пять-шесть секунд озарённая пламенем топка начинает трещать и гудеть. Поразительно: только что дом был холодным, пустым, нежилым – и вот уж по стенам так сложно мечутся тени, как будто сюда в одночасье явились все люди, что здесь побывали когда-то: печь вызвала их даже с потусторонних полей…

 Вообще, рядом с печью человек никогда не бывает вполне одинок. То его развлекут торопливые речи огня, то он любуется танцем пламени – то погружается в воспоминания, которые редко где так оживают, как возле пылающей, жаркой печи. И вспоминается, что удивительно, только хорошее: может быть, оттого, что дурное сгорает в огне, вылетает в трубу – а в душе остаётся лишь свет и тепло, то есть именно то, чем так щедро и радостно делится печь.

 Печь любую погоду, любое ненастье превращает в прекрасное – даже желанное – время. Ибо когда ещё так же уютно бывает сидеть у печи – как не в самую лютую зимнюю стужу, или в промозглую осень, когда дожди льют дни напролёт? Иногда кажется, что ненастье для того именно и существует, чтобы мы с вами, усевшись поближе к печи и слушая дождь, что сечёт по окну, научились ценить основные, первичные радости жизни: тепло, свет, крышу над головой.

 А уж если ещё и какую-то пищу мы с вами можем сготовить в печи – тогда вообще ничего нам не страшно. Чугунок ли картошки, горшочек ли каши – или просто, в конце концов, чайник, в котором свистит кипяток – всё это тоже дарит нам печь. Не говоря уж о том, что печные – томлёные! – блюда обретают особенный вкус, которого никогда не достичь в какой-нибудь микроволновке. Потомившись в печи, впитав её жар, её силу – блюдо становится словно больше себя самого. Картошка тогда уж не просто картошка, похлёбка не просто похлёбка – нет, каждое кушанье, что побывало в печи, передаёт нам как будто частицу своей настоящей души. Сравните, кто может, ковригу ржаного пахучего хлеба, которая на деревянной лопате извлечена из печных жарких недр – с безвкусною булкой современного городского фаст-фуда. Их смешно даже сравнивать; это почти то же самое, что рядом с живою, смеющейся женщиной, в чьих глазах пляшут черти, а в голосе слышится страсть – поставить надувную резиновую куклу. И, может статься, я слишком наивен и старомоден, но я всё же надеюсь, что до виртуальных или резиновых женщин мы не докатимся – как и не променяем живую и настоящую пищу на её синтетические подобия.

 ПЕРЛОВКА. К перловке люди относятся, большей частью, презрительно. В армии солдаты называют перловую кашу «шрапнелью»; ни в каком ресторане перловой крупы не найти днём с огнем; уважают перловку, похоже, одни рыбаки, для которых она – неплохая насадка при летней ловле в проводку.

 Но недаром «перловка» – от старославянского «перл», то есть жемчуг. Вполне оценить всё значенье перловой крупы может лишь человек, знакомый с жизнью не с одной только празднично-лицевой стороны. Так вот вторым – после армии – местом, где перловка стоит во главе рациона, я считаю больничную кухню.

 А в больницах что самое трудное? Самое трудное там – это чувство сиротства и бесприютности, которое одолевает любого, кто коротает – в бессоннице или в тревожной дремоте – больничную ночь. Иногда кажется, что ты в мире последний – последний во всех смыслах слова – и потерявшийся в этой бездонной ночи человек. Порой раздаются какие-то гулы и стоны: так гудят то ли старые водопроводные трубы, то ли с натугой ползущие лифты, то ли сквозняки дребезжат незакрытыми створками окон – то ли стонут, забывшись, больные. Или это гудят – то мигая и притухая, то вновь загораясь – те синеватые лампы, что озаряют ночные больничные коридоры трепещущим, призрачным светом? Время от времени начинает казаться, что это гудит весь больной и страдающий мир – что он, как и ты, изнывает в тоске и сиротстве. Думаешь, утро уже никогда не наступит – ночь, словно едкая щёлочь, растворила все формы, предметы, все лица и голоса – и ты обречён вечно маяться в зыбкой, бесформенной, стонущей мгле… В общем, пытаясь сейчас описать ночь больницы, я пытаюсь дать описание ада – или, по крайней мере, земного его филиала.

 Что же нам помогает всё-таки выстоять и пережить эту трудную ночь? Первым делом, конечно – медсёстры. Именно звонкие их голоса – эти, можно сказать, петушиные крики больницы – да ещё торопливая дробь каблучков оповещают нас, бедолаг, что ночь скоро кончится, и что мы в этом мире не так уж и одиноки. Да, медсёстры уже спешат к нам в палаты, и мы подставляем свои ягодицы под бодрящие утренние уколы.

 Но что закрепляет успех наступления дня? Конечно, тележка буфетчицы. Её перестук всё отчётливее доносится из коридора – следом слышатся и оживлённые голоса – а вот уже ты различаешь и звяканье мисок, и характерный двойной стук половника о стенки кастрюли. Зычный голос буфетчицы убеждает больных поскорей взять свою порцию утренней каши – и этот зов поднимает не хуже лекарств.

 - Что сегодня? – интересуешься у соседа, уже выходившего в коридор на разведку.

 - Перловка.

 - Отлично!

 По сути, не так уж и важно, какая именно каша нам будет предложена – по-настоящему изголодавшийся человек не будет копаться в меню, выбирая что-либо особенное – так и нам, пережившим тяжёлую ночь, сейчас всё равно, какой именно кашей латать те пробоины, что оставила ночь в наших душах. Перловка – ну, значит, перловка: чем проще, обыденней каша, тем лучше.

 Подошла твоя очередь – ты протягиваешь тарелку буфетчице – и та, прокрутив половник в кастрюле, решительно-метким броском швыряет в тарелку горячую кляксу зернистой, дымящейся каши. Тебе сейчас словно выдали порцию жизни: вот, солдат, твой сегодняшний боезапас.

 И до чего ж хороша эта тёплая, с рыжим масляным нимбом, перловка! Её зёрна упруго пружинят и даже немного попискивают на зубах; вот бы, думаешь, и самому стать таким же упругим…

 Маслянисто-тугая перловка жуётся легко, ты азартно работаешь ложкой – и вот уж тарелка пуста. Окликаешь буфетчицу:

 - Мать, а нельзя ли добавки?

 - Отчего же нельзя? – широко улыбается та. – У нас ночью как раз ещё двое преставились: вот их порции, милый, и забирай!

 ПЕРРОНЫ. «Перроны» – звучит, как название какого-нибудь итальянского или испанского блюда. Но я имею в виду платформы железнодорожных станций, на которых местные жители обыкновенно торгуют разнообразной едой. Для меня никакой ресторан не сравнится с перроном – особенно, когда едешь на юг, и каждая станция воспринимается, как подарок и праздник на этом пути.

 Как известно, в дороге хочется есть постоянно. И возможно, что именно голод обостряет все чувства: зрение, слух, обоняние вдруг становятся по-звериному чутки. Запах какой-нибудь жареной курицы ощущаешь с другого конца переполненного вагона; лицо грустной девушки, промелькнувшей в окне на случайной какой-нибудь станции, запоминаешь надолго; а все разговоры попутчиков, даже сквозь полудрёму и постук колёс, слышишь с удвоенной громкостью.

 И такой вот, бодрый и помолодевший лет на пятнадцать, выходишь на солнечный шумный перрон где-нибудь в Россоши или Джанкое. В первый миг кажется, что вагон и весь поезд осаждает толпа нагружённых тяжёлыми сумками и коробами людей. Но по их крикам, перечисляющим и предлагающим всякую снедь, понимаешь: они не штурмуют вагон, а торгуют едой.

 - Беляши, пиво, водка! – кричит тонким голосом толстая тётка.

 - Кому копчёную рыбу? – почти что с угрозой хрипит коренастый, в наколках, мужик, высоко неся перекладину с полудюжиной золотых жерехов.

 - Картошечка… Малосольный огурчик… Котлетка… - ласково и едва слышно шепчет старушка, с одышкой пробирающаяся через толпу.

 - А вот раки! Варёные раки! – звенит голос девушки в ситцевом платьице.

 Кому-то кричать и не нужно: их товар и так виден. Например, те, кто торгует сотовым мёдом: они несут на головах лотки со своим сладким товаром, и над каждым лотком вьётся множество ос. Кажется, что продавец балансирует зыбким столбом, состоящим из напряжённого гула и звона, из трепета крыл – и вот-вот уронит его на толпу…

 Выбор непрост – хочется взять и того, и другого, и третьего – но сегодня, пожалуй, мы остановимся на картошке, на малосольных огурчиках – и на паре бутылок холодного пива. Окликаем старушку, волочащую по перрону такую огромную сумку, в которой она бы легко поместилась сама.

 - Мать, а картошечки там не найдётся?

 Старушка, оборотившись, враз оживляется – и глаза её светятся неожиданным озорством.

 - Картошечки? А то как-же-ть – найдётся!

 Она начинает рыться в тряпье, что натолкано в сумку, приборматывая при этом:

 - Сейчас-сейчас, хлопчики, я вам достану погорячее…

 Кажется, что она роется в недрах картофельной грядки – так глубока и темна та сума, что стоит перед ней – и вот, наконец, извлекает пакет отварной, пересыпанной луком-укропом, картошки.

 - Мать, а огурчики есть?

 И старушка ныряет в другой угол своей безразмерной сумы-самобранки. Кажется, она может достать из неё всё, чего ни попросишь – что, в конце концов, целый мир помещается в ней. Но нам пока целого мира не нужно; нам хватит и огурцов, извлечённых старушкой – которые пахнут так вкусно, что даже слепой догадался бы: это именно малосольные огурцы.

 Если б стоянка продлилась подольше – мы бы, наверное, что-то ещё попросили достать из волшебной сумы. Но проводница торопит нас – мы взбегаем по лязгающим ступеням вагона – затем вдоль состава бежит перестук буферов, и вот уж старушка с сумой отплывает от нас – вместе с шумным, пахучим и пёстрым перроном. К сожалению – или, может быть, к счастью? – мне уже никогда не узнать, что хранилось в суме этой древней старухи со станции Россошь; но порой кажется, что самая главная правда о жизни – её, жизни, глубинная радость и боль – скрыта именно в той суме полунищей старухи, торгующей на железнодорожном перроне. Больше того: я временами и сам себе напоминаю вокзальную эту старуху, потому что роюсь в собственной памяти, как она в своей безразмерной суме – то пугаясь, то радуясь каждой находке, которую мне удаётся извлечь из её глубины.

 ПИВНЫЕ ПОДВАЛЫ. Вот почему классическая пивная – это почти всегда спуск под землю, в подвал? А если даже пивная располагается выше – то в её интерьере всё равно часто видишь попытку имитировать подземелье: тут и грубая кладка, и затемнённые окна, и полумрак, и низкие сводчатые потолки.

 Историки пивоварения могут на это сказать, что изначально пиво и пилось в том месте, в котором хранилось – то есть, в подвалах. И напомнят, быть может, о доселе бытующем в Чехии «правиле седьмой ступени»: лучшее пиво то, что постояло именно на седьмой ступеньке подвального спуска. Да и пивная закуска – колбасы, ветчины, окорока – хранилась тоже в подвалах: естественно, там же устраивали и пивную.

 Вот и моё знакомство с пивными – задолго до посещёния Праги, её шумных прокуренных «пивниц» – началось тоже с подвалов. Было это в годы студенческой юности – благо, Смоленск в конце прошлого века был богат и пивными, и пивом. Самыми популярными были два места: «на Николаева» и «на Дзержинского». И, помню, уже сам спуск в эти подвалы производил хмелящее действие. Полумрак закоулков и переходов, фиолетовый цвет грубых стен, колыханье табачного дыма под сводами и невнятный гул голосов – всё это вгоняло тебя в состояние, как сейчас говорят, «изменёнки». Казалось, что ты очутился в пространствах, как бы параллельных реальности, не вполне совпадающих с ней; казалось, что жизнь подземелья не то отстаёт, не то обгоняет привычную жизнь, что течёт наверху.

 И это ещё нам даже не принесли заказанные шесть кружек «Ячменного колоса» – пока на липком столе только полная пепельница, да обрывок газеты с очистками воблы. Но вот подошла подавальщица, смахнула газету в мусорное ведро, туда же опрокинула пепельницу, и в три взмаха протёрла стол влажной, пивом пахнущей, тряпкой.

 Отчего те минуты, когда мы ожидали заказа, а сумрак пивной так гудел и качался вокруг – отчего они так волновали? Ожидание то ли разлуки, то ли, напротив, волнующей встречи – оно заставляло тебя озираться, невпопад отвечать на вопросы приятелей и неестественно-громко смеяться их шуткам. Что-то особенное происходило вот в эти минуты, в подземных пространствах пивной. Но толком понять, что же именно здесь происходит – ты не мог как тогда, в свои двадцать, так не можешь и ныне, в свои пятьдесят…

 Как раз приносили и пиво. Подавальщица держала по три кружки в каждой руке; во всех шести пиво синхронно качалось – качались и блики на фиолетовых стенах подвала, качались и наши взгляды, следившие за перемещением пивных кружек в пространстве. Вообще, весь мир подвала казался неустойчивым и куда-то скользящим – только, схватившись рукой за тяжёлую кружку, ты мог задержать его зыбкое коловращение.

 Начинали пить пиво спеша, задыхаясь – аж выдувая ноздрями глубокие ямки в податливой пене – и, лишь осушив по полкружки, могли отдышаться. Пивной хмель, да ещё на голодный желудок, накатывал быстро – и ощущение нереальности происходящего усиливалось до того, что хотелось спросить: «Где же я? И что значат все эти лица и звуки?» Но спрашивать было некого – и я искал помощи у пивного бокала, вновь приникая губами к его холодящему краю.

 И вдруг, вместе с хмелем, к тебе приходила не то, что отгадка, а некий намёк на неё. То, что было вокруг – этот сумрак и дым, кружки с пивом и низкие своды – было словно уже не реальностью, а смутным воспоминаньем о ней. «Да-да, именно воспоминанием!» – радуясь слову-находке, ты повторял его про себя вновь и вновь. Вокруг длился словно бы сон о той жизни, которой ты некогда жил, и с которой теперь, захмелев, расстаёшься.

 Но хмельная мысль двигалась дальше – продолжая тебе открывать беспощадную истину происходящего. Ты вдруг понимал, что всё это, томительно-гулкое, вязко-сырое, что так неотвязно клубится вокруг – голоса и бокалы, и своды, и лица, и мгла коридора, и шум нарастающей ссоры в углу, за соседним столом – это всё разлучает нас с жизнью, уводит туда, где нас больше не будет…

 Фрейд, похоже, был прав: влечение к небытию есть один из важнейших мотивов нашего поведения. Груз жизни часто настолько тяжёл, что подспудно любой из нас жаждет отдыха и тишины – то есть, в пределе, мечтает о смерти. И вот как раз одно из тех мест, где мы с вами можем забыться, расслабиться и распустить узлы жизни – это пивные подвалы. В них мы совершаем, как это ни дико звучит – репетицию собственной смерти.

 И вот именно то, что в подвалах обычно так сумрачно-гулко, так мрачно-могильно – придаёт пивным играм в смерть прямо-таки леденящую достоверность. Какая же это пивная – когда это склеп? Кажется, постучи сейчас в стену, отбей штукатурку – откроются ниши с костями, и жёлтые черепа встретят нас костяными усмешками… Но, как ни странно, подвальные репетиции смерти никого не пугают. Пивные ломятся от посетителей, пиво льётся рекой, дым висит коромыслом, гвалт такой, что не слышно соседа – и поэтому думаешь: может, не так всё и страшно? Или то, что ты здесь себе понадумал, всего лишь хмельные фантазии – или же там, куда мы уходим, будет тоже накурено, шумно и тесно: точь-в-точь, как в знакомых, привычных пивных?

 ПОДАЯНИЕ В ТАРУСЕ. Вот уж воистину: от тюрьмы да сумы зарекаться не стоит. Подаяние, например, мне принимать приходилось.

 Было это в Тарусе, у входа на кладбище, на закате жаркого дня. Я пришел сюда пешком из Алексина. Путь вдоль Оки, по зною и пыли просёлочных долгих дорог, то спускавшихся к обмелевшей и тёплой реке, то забиравшихся на холмы окской поймы и петляющих меж деревень – этот путь не на шутку меня измотал. И когда, уже к вечеру, я оказался в Тарусе – то вид мой, наверное, был в самом деле таким, что хотелось подать что-нибудь изможденному этому путнику в драных портах и пропитанной потом рубахе, в разбитых сандалиях и с трёхдневной щетиной на буром от солнца лице.

 Но просил-то я не подаяния – а всего лишь кипятку, чтобы заварить себе чаю. Ну, не будешь же разводить костёр посреди улицы – или, тем более, между могил, крестов и оград тарусского кладбища? Вот я и постучал посохом о калитку ближайшего дома, и на крыльцо вышла русоволосая полная женщина с лицом очень добрым – и, как мне показалось сначала, немного испуганным. Почему-то я обратился к ней: «Дочка!» – хотя вряд ли она была много моложе меня самого. Но роль и внешность бродяги – они словно сами диктовали мне, что и как говорить.

 - Дочка, – проговорил я осипшим, измученным голосом. – Мне бы, это вот… кипяточку бы мне… Уж будь ласкова, ради Христа…

 И я протянул ей свою жестяную, помятую и закопчённую кружку – ту, в которой заваривал чай в одиноких походах. Женщина осторожно спустилась с крыльца – стало видно, что она беременна – молча взяла мою кружку и ушла с нею в дом. Я ждал, опершись о калитку и наблюдая стрижей, что носились над липами кладбища. Минут через пять на крыльцо снова вышла хозяйка, и в руках у неё, кроме полной дымящейся кружки, был ещё большой ломоть белого хлеба, намазанный маслом и прикрытый толстым пластом колбасы. Времена тогда были тяжёлые, полуголодные – шло лето девяносто первого года – и то, что мне вынесла добрая женщина, стоило дорого – во всех смыслах слова.

 Я принял милостыню – а это была настоящая милостыня – смутившись, пробормотав: «Спасибо…» – а потом, помолчав: «Дай Бог здоровья…» Было немного неловко за то, что я словно выдал себя за другого – всё-таки до нищеты мне было тогда далеко – но, вместе с тем, было радостно вдруг ощутить на себе свет людской доброты. Я начал есть подаяние тут же, не отходя от калитки – кружку с дымящимся чаем, чтобы она остыла, поставил на землю у ног – и помню, как уходящая женщина, обернувшись с крыльца, улыбнулась…

 А теперь, вспоминая тот вечер, я думаю: может, именно там и тогда, у ограды тарусского кладбища, я впервые почувствовал, что, по сути, любая еда – это именно милостыня, и она нам даётся единственно из милосердия и сострадания?

 ПОМИДОР. Уж если описывать помидор, так нужно петь в его честь настоящую оду. Начинать, например, можно так: « Помидор лучше даже не резать ножом, а разламывать – чтобы потом на его сахаристо-крупитчатый, алый разлом бросить щепоть крупной тающей соли…» Или так: «Вот мы достали из рюкзака помидоры, сыр, хлеб – и уселись позавтракать на обочине затравеневшей дороги. Смешно даже сравнивать какое-нибудь высокопарное ресторанное блюдо, окружённое блеском серебра, хрусталя и фарфора – с этой вот, истинно райскою, трапезой…»

 Оба эти начала, пожалуй, годятся – от них от обоих можно вести помидорную песню. Но Мнемозина – дама капризная, и её прихоти трудно предугадать. Почему-то сейчас, когда пришло время петь оду царю овощей – память стала высвечивать не сам помидор, а обочины темы: то, как я поливал помидорные гряды в Тиму, на закате июльского жаркого дня. Что ж, доверимся памяти: у неё, как нас уверяют французы, хороший вкус.

 Я был подростком двенадцати или тринадцати лет – а от нашего дома до водоразборной колонки идти было шагов триста: оттянешь все руки, пока донесёшь два полных ведра. Кажется, я и сейчас ощущаю, как в пальцы врезаются дужки вёдер, и как ломит плечи и спину. Идёшь торопливым, напрягшимся шагом – скорей бы, скорей донести! – а колени порой задевают о вёдра, вода выплёскивается, и поэтому обе штанины снаружи мокры.

 Но вот, наконец – огород. Ставишь ведра – они проминают пыльную землю – и с трудом разгибаешь замлевшие пальцы. Третью неделю стоит страшная сушь, и кусты помидоров поникли на колышках, как инвалиды на костылях. На них сейчас жалко смотреть: прямо-таки ощущаешь, как помидорам хочется пить. Скорей опускаешь в ведро поллитровую банку – она наполняется с жадным, утробным глотком – и льёшь воду под жилистый стебель, в ближайшую лунку. Из трещин земли, торопясь, вылезают жуки, пауки, многоножки – а вода проваливается в эти трещины, как в пустоту. Лишь третьей банкой удаётся наполнить лунку по край – да и то на короткое время.

 Зато помидор оживает. Его зелень свежеет, осанка почти на глазах выправляется – он уже выглядит не инвалидом, а бравым солдатом – и, главное, он начинает свежо, пряно пахнуть. Когда же все лунки пролиты – а кое-где ещё даже стоят мутные лужицы пенной воды – этот запах, такой живой и бодрящий, слышен даже и с улицы, из-за забора – откуда ты носишь вёдра воды.

 И оттого, что теперь помидорным кустам стало легче – становится легче и радостней тебе самому. Как будто, полив помидоры, ты напоил и себя – и с себя самого, хоть немного, но снял тяжкий груз бытия. Не так уж и часто, за пятьдесят тобой прожитых лет, ты так же уверенно чувствовал: сейчас ты помог самой жизни – и жизнь благодарна за эту подмогу. И мало когда ещё ты бывал так доволен и счастлив – как тогда, на тимском огороде, посреди пряно пахнущих, мокрых, оживших кустов помидоров…

 ПОМИНЫ. Не удивительно ли, что при последнем прощании с человеком – пируют? Пусть не везде это принято – евреи и мусульмане считают поминальное застолье необязательным – но в большинстве культур и народов, провожая покойного на тот свет, устраивают поминки.

 Понятно, что они больше нужны не усопшему – а провожающим, тем, кто пока ещё жив. И понятен психологический смысл поминального пиршества: во врата, так сказать, смерти, куда только что удалился покойный, легче смотреть, окружив себя тем привычным и утешительным, что сопровождало нас всю жизнь и стало почти её, жизни, синонимом – то есть, едой.

 Вообще, без обряда – сценария, по которому выстроены ключевые моменты нашего существования – мы, похоже, не выживаем. Причём обряд – это же совокупное творчество не только нас с вами, ныне живущих, но и тех поколений, что жили до нас, и тоже держались обряда, который они получили от предков и передали потомкам. Обряд – в том числе, и поминальный – это то, над чем потрудились все поколенья народа, народ целиком: это действие многовековой протяжённости, в котором мы с вами и зрители, и участники одновременно.

 Первое поминальное блюдо – кутья, то есть сладкая зерновая каша, которую должен отведать любой, кто явился на помины. Происхождение кутьи ещё древнеславянское, но лишь христианство наполнило это обрядное кушанье глубоким и утешительным смыслом. Зерно означает будущее воскрешение после смерти – «аще не падет в землю, не оживет» – а сладкие мёд и изюм, которыми сдобрена каша, говорят нам о сладости жизни в мире ином, «идеже несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание». В этом смысле кутья – упование вечности, то есть последняя формула христианского «Символа веры», но изложенная не словами «чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века» – а выраженная с помощью риса, изюма и мёда.

 За кутьёй подаются блины. Тоже древнее, исконно славянское блюдо: этот масляный диск пропечённого теста, так напоминающий солнце – и солнце, конечно же, символизирующий. Вообще, выражение «поедание солнца», которое может казаться совсем уж язычески-примитивным поверием и пережитком – отражает буквальную, строго научную, истину. Ведь поедая что-либо – в том числе, и блины – мы едим, в прямом смысле слова, солнечный свет. Откуда мука, из которой нам их напекли? Ясно, что из зерна. А откуда зерно? Да с того поля пшеницы, на которое лился солнечный свет, попадая на листья тучнеющих злаков, и в них превращаясь в крахмал, клейковину, белок. Фотосинтез – то чудо, которое и превращает свет солнца во всё, что мы с вами едим: от блинов на поминах до самых затейливых деликатесов. Так что «поедание солнца» – метафора только на самый поверхностный взгляд; на самом-то деле жизнь и без всяких метафор так глубока и чудесна – что жизни, конечно, не хватит, чтоб надивиться на все её чудеса.

 А последнее поминальное блюдо – кисель. Смысл его, как я думаю – утешение. Всё же помины – грустное дело, даже если уходит старик; а уж когда смерть берёт молодых – у всех поминающих души болят, а сердца обливаются кровью. И чашка сладкого, вязкого киселя – она действует, словно повязка на рану: саднящая боль хоть немного, да притихает.

 Кстати припомнилось, что английское слово «comfort», которое в ранних средневековых переводах Писания означало, ни много ни мало, «нисхождение Духа Святого» – со временем стало употребляться, как «утешение». Так что можно считать, что кисель, утешающий нас на поминах – есть, хоть и слабое, и отдалённое, но дуновение Духа, который собой овевает весь видимый мир и «дышит, где хочет».

 Но не забудем: на поминах долго рассиживаться не принято. Допьём же кисель, ещё раз поклонимся хозяйке-вдове, приобнимем осиротевших детей, что враз посерьёзнели и повзрослели, да и пойдём жить себе дальше – до тех самых пор, пока поминать не начнут и нас с вами.

 ПРИМУС. Оказывается, я живу на свете так долго, что многие вещи, среди которых я рос – теперь можно встретить только в музее. Это и грампластинки, и плёночные магнитофоны, и ламповые телевизоры, и арифмометры – кто сейчас знает, что это такое? – и перьевые ручки с чернильницами, и деревянные лыжи с ременными креплениями и палками из коленчатого бамбука. Да что там: я застал ещё керосиновые лампы «летучая мышь» и земляные полы в курских хатах, крытых картофельною ботвой! А если держаться кухонной темы, то я современник примусов и керогазов. Вот поди растолкуй молодёжи, что это за звери, и в чём их различие – хоть это различие полвека назад было столь очевидным, что не нуждалось ни в каких разъяснениях.

 Например, примус. Соответствуя громкому имени («примус», кто помнит латынь, значит «первый»), это устройство действительно громко гудело – в отличие от почти безголосого керогаза. Когда мы приезжали гостить к моей бабушке по отцу, Марии Павловне Панюковой (в посёлке Тим её называли короче: Марь-Пална) – примус на её крохотной кухонке пел-гудел чуть не круглые сутки. Раньше, чем начинали орать соседские петухи и ворковать голуби на улицах Тима, начинал гудеть бабушкин примус: под его тугой посвист мы нередко и просыпались. Так и вижу: бабушка подвигает поршнем насоса, потом, напряжённо поморщась, поднесёт спичку к горелке – и вспыхнет тугое, гудящее пламя, которое, кажется, хочет порвать на клочки самоё же себя.

 Стряпня на кухне Марь-Палны шла с утра и до позднего вечера; руки бабушки, а порой даже щёки были то припорошены белой мукой, то блестели серебром чешуи (каких карасей, нами же пойманных, она нам нажаривала!), то краснели от фарша котлет – тех незабвенных котлет, вкуснее которых мне ничего, никогда и нигде не доводилось пробовать. А лапша – янтарные блёстки которой как будто светились? А кисло-сладкие блинчики, тонко-ажурные, словно брабантские кружева? А вареники с вишнями, от алого сока которых густая сметана, накрывшая их, приобретала цвет нежно-розового заката?

 Несравненное кулинарное мастерство моей бабушки было признано всеми в посёлке. Доходило до эпизодов комических. Так, тимские пьяницы как-то проникли в погреб Марь-Палны, чтобы похитить полдюжины банок компотов – вишнёвых, грушевых и яблочных – готовить которые бабушка также была мастерица. Она, помню, рассказывала об этой краже хоть, конечно, и с возмущением – но в то же время и с тайною гордостью, как о высшем признании своего кулинарного мастерства.

 Секрет же – точнее, один из секретов – её кулинарных успехов был в том, что Марь-Пална относилась с доверием и уважением к рецептуре: то есть готовила блюда именно так, в той самой пропорции и очерёдности всех компонентов, как это было предписано в книгах, журналах – или, скажем, на листках отрывного настенного календаря. Она всё выполняла с буквально аптекарской точностью, не допуская никакой отсебятины – и результат выходил потрясающе вкусным.

 Слова «с аптекарской точностью» – не просто речевая фигура. Бабушка всю жизнь работала провизором поселковой аптеки – то есть человеком, составляющим лекарственные смеси. Поэтому и привычка к аптекарской педантичности – согласитесь, диковинная для русского человека – и уверенность в том, что мир, в целом, устроен разумно и правильно – это жило в бабушке неистребимо.

 Вот и бабушкин примус (к которому нам давно пора возвратиться) – он тоже доказывал, всей своею эстетикой и технической статью, всем разумным удобством устройства, что всё можно сделать правильно, аккуратно и точно – и что беда лишь в нашем собственном безрассудстве и разгильдяйстве. В этом смысле, примус нам демонстрировал целое мировоззрение: веру в технику и в прогресс, в порядочность и в порядок – веру, в конце концов, в «человека разумного».

 Жаль, что ныне от этой веры, уютной и старомодной, почти не осталось следов. Вот, разве что примус напоминает о ней – точнее, не сам даже примус, а моё детское о нём воспоминание. Как-то очень отрадно представить себе блеск латунных боков, тугой ход поршня-насоса, сипение керосина, распыляемого форсункой – и, наконец, тот волнующий посвист, с которым под днищем кастрюли дрожало упругое синее пламя. Этот свист замолкал, только если форсунка примуса засорялась – и тогда бабушка звала на подмогу внука. Чтобы прочистить форсунку, требовались мои молодые глаза – это и было моим скромным вкладом в тимские пиры. Имелся особый предмет – «прочищалка» – жестяная пластинка с тонким, припаянным к ней, стальным волоском. Этим волоском и надо было попасть в засорившееся отверстие – чтобы наш примус опять загудел, и вновь закипела кастрюля с борщом, или зашкворчала сковорода с картофельными оладьями.

 Где ж ты теперь, наш тимской примус? Неужели ты жив только в памяти – да вот на этих страницах, где я пытаюсь тебя воскресить? Но слава Богу уже и за то, что всё это было: и гудение примуса в утренних сумерках, и бабушка в тёмно-вишнёвом халате, и стук её скалки о стол, припорошенный белой мукой, и упоительный запах оладий, и весь тот глубокий уют тимской кухни, который, как нам казалось тогда, будет вечен – который и впрямь, может быть, сохраняется где-то вне времени, вне суеты перемен. Почему, в конце концов, кто-то решил, что рай – это какие-то там непременные кущи с амброзией, арфами и фимиамом? Рай – это место, исполненное любви; а мало кто был настолько же полон любовью, как бабушка Мария Павловна, без устали хлопотавшая ради нас в тесном сумраке кухни, под нежный и чуть шепелявый свист примуса…

 РАПАНЫ. При слове «рапаны» я вспоминаю Абхазию, пляжи Гульрипша – и то, как мы с дочкою Дашей ныряли, отдирая рапанов со свай полуразрушенного причала. В свои девять лет Даша плавала очень даже неплохо; но ныряла она всё же там, где было помельче, и где волна не так шлёпала о бетонные сваи. Море было прозрачным и тёплым; вдалеке, через залив, виднелись портовые краны Сухума; по пустынному пляжу бродили коровы и удивлённо смотрели на то, как мы с Дашей ныряем.

 Если как следует раздышаться, можно было нырнуть метров на пять-шесть – туда, где уже было сумрачно и жутковато, и гроздья крупных рапанов лепились на сваях диковинными наростами. Царапая руки, я торопился их отодрать, но это было непросто: рапаны хрустели, в висках туго бухала кровь, море выталкивало обратно наверх – и за один нырок удавалось добыть не более двух костяных завитушек размером примерно с кулак.

 Но вскоре мы всё же насобирали десятка три этих дальневосточных моллюсков – которые, как известно, доплыли до Чёрного моря на днищах судов. Отдыхая, посидели на пляже, где галька была перемешана с гильзами – недавно в этих местах шла война – и побрели к дому, где жили в то лето.

 По пути не раз останавливались, чтобы поесть ежевики и слив в одичавших садах, рядом с брошенными домами – в пустые оконные дыры которых тянулись лианы, и откуда порой вылетали потревоженные нами сойки или удоды. Это тоже были следы миновавшей войны, как и те одичавшие табунки лошадей – долгогривых, пугливых и чутких – которые время от времени выбегали с гор к морю, а потом снова скрывались в лесистых распадках. Порою дорогу нам перебегали поджарые бурые свиньи, похожие на небольшие торпеды, которые деловито рылись в пыли, а потом с шумом и топотом исчезали в густом ежевичнике.

 Почему-то представилось вдруг, что абхазы, так отважно сражавшиеся за собственную свободу – завоевали её так много, что избыток свободы теперь доставался природе: одичавшим садам и лианам, свиньям и лошадям. Всё росло, размножалось, резвилось здесь вольно, в наивной беспечности – словно в раю. О том же, что в этом избытке свободы таилась ещё и опасность, как-то не думалось посреди этой всей субтропической неги – да ещё в ожиданье обеда с вином и рапанами.

 Чистить рапанов мы сели в пацхе – так называется летняя кухня абхазов. Это был деревянный навес, в центре которого, над очагом, висел на цепи закопчённый котёл – в котором хозяева изредка готовили лобио или мамалыгу. Ещё тут был стол, пара лавок, посуда – всё очень грубое, крепкое и настоящее. Примерно в таких же вот пацхах абхазы готовили пищу и сто лет назад: ни войны, ни революции, ни прогресс не изменили простого уклада их жизни.

 Спокойно почистить рапанов нам, впрочем, не дали: очень скоро мы оказались окружены голенастыми, наглыми петушками-подростками. Они гордо вышагивали вокруг, били куцыми крыльями, хрипло сипели – и пытались выхватить раковины чуть ли не из наших рук.

 - Не цыплята – орлы! – смеялись мы с Дашей.

 От них досталось даже соседской собачке, маленькой и кривоногой, которая сунулась было к нам в пацху – но тут же была атакована петушками и, поджав хвост, улепетнула опять за калитку. Интересно, что профили этих цыплят-петушков были чисто абхазскими: горбоносые, гордые. Похоже, здесь даже цыплята перенимали воинственный и независимый нрав местных жителей.

 С рапанами мы всё же справились – они уже шкворчали на сковородке, в оливковом масле, среди колец лука – и пришло время накрывать стол к обеду. Как раз подошла жена Лена, нарезала помидоры и хлеб – а я разлил по кружкам красное вино «Изабелла», которое в Абхазии, называют «чёрным». Пахнущее земляникой, оно было сладким, густым – как и природа субтропиков, которая нас окружала. И я даже не знаю, что больше хмелило: густое ли, тёмное это вино – или роскошь всех этих пальм и лиан, эвкалиптов и зарослей лавра, мимоз и инжирных деревьев, вся эта яркость цветов и густые, томительно-сладкие запахи юга?

 Скоро посередине стола появилась сковорода мясистых рапанов, напоминающих, видом и вкусом, те куриные желудки, которые у нас называют «пупками». Только рапаны, не в обиду «пупкам», были вкуснее: упругая пряность их мяса делала эти моллюски прекрасной закуской к вину.

 Обед шёл своим чередом, мы болтали о том и о сём – как вдруг над пляжем Гульрипша застрекотали зелёные патрульные вертолёты. Они летели внаклон, низко, быстро и хищно – и от их стрекотания прохватывало ознобом. Сразу стало понятно, что вся эта роскошь и нега, которая нас окружала – всего лишь оболочка, под которой таилась жестокая, грубая истина жизни. И я вдруг неосознанно заторопился: стал быстрее жевать, торопливее пить из кружки вино – потому что кто знает, что может случиться уже через час или два?

 РЫБНЫЕ РЯДЫ. Даже в музеях не бывает так интересно – как на живом, полном шума, движения, запахов рынке. А изо всех мест на рынке интереснее всего рыбные ряды. Трудно даже и объяснить, почему это так – почему ни одежда, ни обувь, ни груды багрового мяса, ни разноцветные россыпи фруктов, ни даже лотки остро пахнущих пряностей не привлекают так, как ряды, где представлены дары моря: все эти рыбы, кальмары, креветки и осьминоги? Один только запах копчёной скумбрии, мойвы или салаки – уже заставляет забыть все дела и зачарованно бродить по рыбным рядам, не уставая дивиться фантазии жизни, которая не поленилась придумать такое разнообразие всевозможных существ.

 Вот мёрзлой поленницей, голова к голове, лежат рыбы морские: минтай, хек, треска. Они и впрямь, словно дрова: они нас согревали-спасали в те трудные, полуголодные зимы девяностых годов – когда наших зарплат только лишь на минтай и хватало. Вот пучат глаза, топорщат жабры и плавники красные – словно ошпаренные – морские окуни, такие колючие с виду, что к ним страшно и подступаться. Вот ломти сёмги: красно-мясистые, с мраморными прожилками жира. А вот полные лотки мелочи – тюльки, салаки, хамсы – которая льётся с ковшей продавцов, словно расплавленное серебро.

 А вот раскинулось и пресноводное наше богатство. Тут и карпы, лобастые, словно быки, и пятнистые длинные щуки – вот бы, думаешь, поймать такую на блесну! – и серебристые жерехи с мощным хвостом, чьи удары ты столько раз слышал, сплавляясь на лодке, и оливковые лини, и судак – до чего ж он хорош в заливном! – и, конечно, лещи, широченные, словно подносы. А налимы, лежащие склизкими чёрными кольцами? А сомы, чьи усатые пасти, кажется, и на прилавке готовы глотать всё, что им подвернется?

 Но в рыбных рядах можно встретить и прочих-иных обитателей вод. Не диво теперь и кальмары, и мидии, и осьминоги; бывает, что даже омара увидишь на крошеве льда – омара, чьи клешни, усы и суставы коленчатых ног напоминают чудовищ из фантастических фильмов. И вообще, когда ходишь по рыбным рядам – сам себе кажешься зрителем фильма об иных, запредельно-далёких мирах. В обычной-то жизни где встретишь все эти щупальца, клешни, присоски, глаза на усах-стебельках, эти жабры и плавники, эти страшные пасти? До чего ж всемогущ и загадочен тот поток жизни, который выносит на наши глаза всё это разнообразие биологических форм!

 После прогулки по рыбным рядам во мне всегда прибавляется жизненных сил. Кажется, что искупался в бодрящей и свежей реке, в том самом потоке, который несёт, вместе с рыбами, раками и осьминогами – нас с вами тоже. С одной стороны, сознаёшь, что ты, как живой организм, являешься только ничтожной частицей на этом жизненном карнавале; но, с другой стороны, понимаешь, что ты, со своим удивлением перед всем этим пиршеством жизненных форм – ты всё же являешь собою нечто иное и единичное. Таких, как вот именно ты, никогда прежде не было, нет, и не будет; не будет такого же точно, как твой, изумлённого взгляда, не будет тех именно мыслей, какие сейчас ты пытаешься выразить словом, не будет того, что есть именно ты – такой странный, нескладно-растерянный, но даже и в этой нескладности неповторимый. И вдруг начинаешь – ну, может, ещё не вполне сознавать, а только предчувствовать – истину единичного, прозревать ту бытийную глубину индивидуального существования, которая может питаться лишь самым глубоким источником жизни: свободной и радостной волей Отца, сотворившего весь этот мир…

 РЮМКА ВОДКИ. Отчего-то из всех выпитых в жизни рюмок с особою благодарностью вспоминается одна – даже не столько сама эта рюмка, холодная и запотевшая, сколько тот мартовский день, когда она была выпита.

 Этот день был настолько хорош, так огромен и ярок, что словно сам уже не вмещал того блеска, теплыни, трамвайного звона, капели, воробьиного гвалта и белизны облаков на синеющем небе – из которых сам же и состоял. И, уж тем более, не помещался в нём я, медицинский студент, одиноко бредущий по мартовским лужам Смоленска.

 Приходилось ли вам ощущать, что вы лишние на сияющем празднике жизни? Когда окружающий мир так прекрасен, так полон собою самим – что вам, одинокому путнику, в нём не находится места? Поэтому, вместе с блаженной истомой от созерцанья весны – я ощущал и тоску одиночества. Я сознавал, до чего же ничтожен и слаб – по сравненью со всем этим блеском, с полуденным звоном капели, со всей ярой силой весеннего дня.

 Я брёл вниз по длинной, к Днепру опускавшейся, улице – изгибы которой поворачивали меня к солнцу то левой, то правой щекой. И я таял на нём, таял вместе с крышами и водостоками, с грудами грязного снега обочь тротуара, с разомлевшими мартовскими котами на карнизах и подоконниках, вместе с пьяными от весны воробьями – которые так ошалело, забыв всё на свете, плескались в сверкающих лужах, что брызги летели мне на ботинки. Мы все – я, коты, воробьи – словно чуть повредились рассудком от солнца и блеска, от брызг вездесущей капели. И мне уже, помнится, было физически трудно выдерживать натиск весны.

 Поэтому вывеска «Рюмочной», которую я вдруг увидел, показалась заманчива, как предложение о передышке. И я с облегченьем сбежал по ступенькам в подвал – где было безлюдно и тихо, и где, наконец-то, глаза могли отдохнуть в полумраке.

 Буфетчица, величавая, как изваяние, скучала за стойкой. Перед ней мерцал влажный поднос перевёрнутых рюмок. Стоять перед стойкою молча было неловко, и я попросил налить рюмку водки. Полные белые руки буфетчицы мягко задвигались – запотевший графин приподнялся и наклонился, едва слышно булькнуло – и вот предо мною стояла всклень налитая рюмка, такая холодная, что было трудно держать её в пальцах. Осторожно, боясь расплескать, я поднёс рюмку к губам – и, выдохнув, бросил в себя обжигающий лёд.

 - Закусочку, парень, не позабудь – загудел грудной голос буфетчицы, и она пододвинула мне ломтик хлеба с селёдкой.

 Я жевал и мычал, благодарно кивая – и чувствовал, как во мне распускается словно горячий цветок. В груди потеплело, глаза повлажнели – так, что и мокрые рюмки на стойке, и крупные серьги буфетчицы стали переливаться радужным блеском – и весь подвал «Рюмочной» начал казаться волшебной пещерой из сказки.

 И когда, расплатившись, я выбрался снова наверх, к ослепительно-синему небу и солнцу – мне было легче выдерживать натиск весеннего дня. Не только снаружи, но и внутри меня теперь что-то сверкало и жгло – и я вдруг ощутил равновесие между собой и сияющим миром вокруг. Я только что словно бы причастился ему – и он больше не отторгал меня, как недавно, а принимал за вполне своего.

 Я догадался: всё дело в солнце! Ведь глоток водки, который я выпил, и который теперь грел меня изнутри – это был, в сущности, солнечный сгусток. Когда-то луч солнца коснулся земли, оживил её всходы, затем, пройдя ряд превращений, стал пшеничным зерном – а затем, в перегонных кубах спиртзавода, превратился в тот самый глоток обжигающей водки, который теперь, став частицей меня, позволял себя чувствовать родственным этому яркому миру. Солнце, можно сказать, отразилось во мне – и незримая нить задрожала меж нами…

 Улица продолжала нести меня вниз – но теперь это был словно некий блаженный полёт. Впереди, над домами и крышами, сияли золотом соборные купола. На их блеск было трудно смотреть – а вокруг куполов и крестов носилась, шумя, голубиная стая. Белые голуби то вдруг чернели, почти пропадали из глаз – огонь куполов словно их испепелял – а потом, снова ярко белея, неслись по пронзительно-синему небу. На какое-то время я вдруг перестал понимать, где же я нахожусь – на земле иль на небе? – и мне уж мерещилось, что я тоже лечу вместе с птицами, в их трепещущей стае, и глаза мои слепит то золото, то синева…

 САМОЛЁТНЫЕ ЗАВТРАКИ. Каждый, кому приходилось летать, получал от стюардесс коробку, наполненную подобиями еды. Не считать же всамделишной пищей эти пакетики масла, брусочки желе, эти коробочки с безвкусными овощами да ломтики мяса иль рыбы, запечатанные в фольгу? Как в детском наборе «Юный доктор» или «Юный портной» пластмассовые ножницы или стетоскопы очень мало похожи на настоящие – так и при раздаче еды в самолете чудится что-то игрушечное: словно пассажиры решили, как дети в песочнице, поиграть в завтрак или обед.

 Про вкус самолётной еды писать нечего: его просто-напросто нет. Но зато всякий раз, когда мне предлагают эти наборы, я вспоминаю калужский музей космонавтики – где нам, школьникам, показывали еду космонавтов. Эта витрина поражала нас куда больше, чем прочие экспонаты музея. На тюбиках, напоминающих тюбики зубной пасты, было написано: «борщ», «бифштекс» или «суп с фрикадельками». Как мы восхищённо толпились перед этой витриной – и каждый мечтал: эх, вот бы попробовать то, что едят на орбите! Тогда, в детстве, сделать этого не удалось, и разочарование синтетической пищей пришло много позже. Ведь еда в самолетах, должно быть, похожа на то, что едят космонавты: от пищи в ней только название, да унылые цифры калорий.

 Но тут наша тема – критика самолётной еды – вдруг поворачивается совершенно иной стороной. Что, в конце концов, остаётся от всякой, пусть самой вкусной, еды? Лишь название, слово, идея – то, что Платон называл словом «эйдос». (Про физиологическое завершение любого из наших пиров писать как-то даже неловко. Мы же с вами, надеюсь, не сводимся к пищеварительной трубке, что начинается ртом и кончается задним проходом?) Так вот еда самолёта, которую с настоящей едой роднит, в сущности, только название – ближе к чистой идее еды, чем какой-нибудь сочный бифштекс или стейк из лосося. И мы в самолёте, рассеянно глядя в иллюминатор – за которым, слепя и сверкая, расстилаются кипельно-белые облака – мы поедаем не столько бифштекс, сколько «идею бифштекса». Но где же ещё и общаться с платоновским миром идей, как не за облаками, не там, где земная реальность бледнеет, становясь уже то ли воспоминанием, то ли бесплотным призраком? Конечно, чем ближе к небу, тем холоднее, как говаривал барон Дельвиг; но зато в той небесной прохладе, где мы с вами летим, тлен и порча изменчивой жизни не так разрушают и мысли, и память – как это было бы на покинутой нами земле.

 В конце концов, даже и эти страницы воспоминаний о пирах моей жизни: что это, как не попытка подняться туда, где уже существует не просто еда (вещь, как известно, весьма скоро портящаяся), но присутствует «эйдос» еды, живёт то, что питает не только тела – столь же тленные, как и то, что они поедают – но сохраняется то, что питает и радует души?

 САЛАТЫ. По салатам можно изучать историю: и собственной жизни, и целой страны. Так, в аскетически-строгие послевоенные годы салаты были не в ходу. Какой там салат: скажи спасибо, если в столовке предложат суп да гуляш – а на третье компот или чай. Я уж не говорю про старинный, традиционный уклад: ни в крестьянском, ни в городском мещанском быту о салатах не было и помина. «Щи да каша – пища наша»; а смесью травы и каких-то варёных кусочков могли питаться, разве что, поросята.

 Но времена изменились, и на столах появились салаты. Первый салат, что я вспоминаю – это был винегрет, который нас заставляли есть в детском саду. И нам он, помню, тогда не нравился. Что за радость, думал я, роясь в тарелке – жевать эти пресные кубики свёклы с морковью, да ещё перемешанные с солёными огурцами? Всё это было холодным, осклизлым, вечно падало с вилки на стол и тебе на штаны; в итоге большая часть винегрета, которым нас, деток, пытались кормить, оказывалась в помойном ведре – которое поварихи детсада уносили своим поросятам.

 Но вообще винегрет о ту пору – то есть в шестидесятые-семидесятые годы прошлого века – буквально завоевал всю страну. В «стекляшках» и «забегаловках», в заводских или привокзальных столовых – всюду можно было увидеть тарелки с красневшею горкой вареной моркови и свёклы; и стоило это всё удовольствие, если не ошибаюсь, всего шесть копеек.

 Со временем я полюбил винегрет: за его простоту и доступность, за красный праздничный цвет (не за это ли самое винегрет так любила и вся страна – ведь тогда её символом было именно красное знамя?); да и вкус винегрета мне нравился больше и больше. Облитый подсолнечным маслом, да с ломтиком жирной селёдки, да с краюхою свежего чёрного хлеба – признайтесь, что лучшей закуски тогда было трудно сыскать.

 К тому же, потом я узнал, как этот простецкий салат может быть превращен в кулинарный шедевр. Ведь знаменитая «сельдь под шубой», которая и до сих пор соблазняет самых капризных гурманов – это, по сути, тот же винегрет, но доведённый до совершенства. Составляющие те же самые – лук, свёкла, картофель, морковь – но они не перемешаны, как в простом винегрете, а выложены послойно – так, что этот салат напоминает слоёный пирог. А так, винегрет – он и есть винегрет, с непременною спутницей-сельдью, и с розовым соком, который сверкает янтарными блёстками масла.

 Но пора перейти и к другому салату, который стал, можно сказать, гастрономическим символом детства – и целой эпохи. Все главные события жизни, от Нового Года до дня рождения, были связаны именно с ним; и не раз доводилось мне слышать, что без него, дескать – и праздник не праздник.

 Речь, конечно же, об «оливье». В нём главным ингредиентом (ну и словечко!) был дефицит. То есть не просто какой-либо из редких продуктов, необходимых для приготовленья салата – а дефицитом в те годы был и майонез, и зелёный горошек, и вареная «докторская» колбаса – но важен был дефицит, как явление. Важно было осознавать, что перед тобою не просто еда, а нечто особое, редкое – то, что ты долго разыскивал, мотаясь по магазинам и выстаивая в очередях. «Оливье» был доступен не всем, не всегда; им гордились, как неким «умением жить»: так, возможно, пещерный охотник гордился умением заманить в западню мамонта или носорога.

 И вот именно «дефицитностью», ощущением прикосновения к некой мечте нам и дорог был этот главный советский салат, получивший (откуда, не знаю) французское имя. А вкус его был, откровенно сказать – никакой. Так, какая-то вялая смесь из яйца, колбасы и варёной картошки с морковью – с почти что безвкусным зелёным горошком. Если б не майонез (тоже та ещё редкость!), это пресное месиво вообще нельзя было б есть.

 А когда та, былая, уютно-застойная жизнь вдруг сломалась, когда понятие «дефицита» вернулось из гущи обыденной жизни на страницы экономических сводок – точнее сказать, в разряд дефицита попало иное: деньги, время, здоровье, покой – то куда-то исчез и салат «оливье». Нет, он, конечно, мелькает ещё кое-где в застольях пенсионеров, которые с нежностью вспоминают эпоху застоя; но теперешний, переживший себя самого, «оливье» так же мало похож на тот легендарный салат времён всеобщего дефицита, социального равенства и братства народов – как потускневшие лица нынешних пенсионеров мало похожи на вдохновенные лица плакатов семидесятых годов.

 Что же жизнь предложила взамен «оливье»? Роясь в памяти, столь же путаной, как и жизнь в девяностые годы прошлого века, извлекаю оттуда салат под названием «Крабовый». Он стал популярным с лёгкой руки одного певца, показавшего этот салат в своей кулинарной программе – и «Крабовый» быстро, как шлягер, завоевал всю страну. В течение целого десятилетия не было, пожалуй, застолья, где бы не подавался этот салат, состоявший из кукурузы и сладкого мяса трески, сдобренных всё тем же майонезом. «Крабовый» был салатом обманным и сладким, как лживое обещание: ибо от крабов в нём был только запах. Самого же предмета, который был должен его издавать – в нашем случае, крабов – там не было вовсе. Что ж, таков вообще принцип современного виртуального мира: видишь картинку, или чувствуешь запах, а за этой картинкой иль запахом – лишь пустота.

 Но не будем уж слишком ругать тот салат, под приторный вкус которого страна жила многие годы. Сейчас-то, конечно, мало кого заставишь жевать эту сладкую кукурузно-тресковую смесь; но тогда он казался и вкусен, и сытен – и не зазорным считалось поставить перед гостями салатник и предложить:

 - Ну, что: может, под водочку – «Крабовый»?

 Перемены, как это ни странно, приносят не только плохое. Вот и с салатами так: лет, наверное, десять назад я впервые попробовал то, что уже не хочу променять на иное. Когда я увидел, как крупно нарезаны красные помидоры и жёлтые перцы, как ярко чернеют маслины, белеют мягкие кубики брынзы и кольца лука, как всё это щедро полито оливковым маслом – я сразу почувствовал: вот оно, настоящее!

 Да, салат «Греческий» я полюбил с первого взгляда. Я услышал в нём как бы голос далекой, но ещё не вполне позабывшей нас, родины. Это как встретить где-нибудь в скудных, северных наших местах афинский фронтон, или копию греческой статуи – то есть вспомнить, откуда мы родом. Ведь наша культура, наука, религия – всё пришло к нам из солнечной Греции. Вот и этот салат, такой с виду яркий и праздничный – и такой, вместе с тем, благородно простой – он доносит до нас отголосок античного зноя, пёстрый шум многолюдной агоры, шелест бледных олив на афинских холмах, и протяжные, мерные вздохи Эгейской волны – что как будто читает нам долгие строки Гомера…

 САМОВАР. Когда из гудящей самоварной трубы летят искры, и даже порой вырывается пламя – самовар представляется словно ракетой, залетевшей издалека, и ещё сохранившей горячую дрожь реактивного двигателя. Не поэтому ли самовар, хоть и служит символом традиционного быта – так авангардно-космичен: его полусферы, изгибы и грани, вся его сложная архитектура создана словно не тульскими мастеровыми, а фантастами-футуристами. Вообще, будь моя воля, я бы выполнил первый искусственный спутник Земли в виде именно самовара: пусть бы символ России носился себе по орбите. Впрочем, и тот, что запущен полвека назад – шар с усами-антеннами – тоже чем-то напоминает кругленький самоварчик.

 Поразительно, как много всего соединено в самоваре. Это и печь, и паровая машина – вон, как заварочный чайник звенит и подскакивает на самоварной конфорке – и резервуар для горячей воды, да и просто красавец. Как сияют его полусферы и грани – и как всё, что есть в комнате и на столе, спешит отразиться в надутых щеках самовара!

 Самоваров на свете – великое разнообразие. От совсем крошечных, на стакан кипятка – до огромных, высотой почти в человеческий рост. Таков, если видели, самовар в тульском вокзальном буфете: сколько вмещает он вёдер воды, трудно даже представить. Бывая проездом в Туле, я всегда захожу к нему поздороваться – и радуюсь, когда моё отражение расплывается по его серебристому животу.

 А формы? Тут и шары, и цилиндры, и усечённые конусы, и гибриды всех этих фигур – да ещё обрамлённые, как кружевами, затейливою металлическою лепниной. И узорные ручки, и крышки, и краники, и массивные лапы, на которых стоит самовар, и конфорка под чайник, и ещё Бог знает что – превращающее самовар из кипятильной машины в бокастую, щеголеватую, разрядившуюся купчиху.

 А пестрота самоварных расцветок? Порой он горит такими цветами-узорами, что с ним не сравнятся ни палехские шкатулки, ни жостовские расписные подносы: кажется, все цветы мира собраны в пышный букет самовара. И я чувствую: мне не хватает ни слов, ни сравнений, чтоб спеть самовару ту песню, которую он заслужил. Это тот самый случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать; самовар нужно именно чувствовать всем, чем можно – глазами, ушами, ноздрями, ладонями – чтобы в душу вошло ощущение праздника, имя которому «самовар».

 Но вот тут я испытываю недоумение: странное всё же название придумали русские для кипятильной машины – изобретённой, как известно, китайцами. Ведь самовар – сам-то вовсе не варит: напротив, хлопот с ним достаточно много. И наколи лучины или набери шишек, и разведи огонь в самоварной трубе, да потом следи, чтобы он не потух, и чтобы искры от самовара не подожгли что-нибудь в доме; да наполни пузатое это устройство водой, да подставь блюдечко под всегда протекающий краник – словом, для чаепития с самоваром желательно завести кухарку или денщика, которым и будет поручена вся эта возня.

 Но почему же тогда – «само-вар»? Может, в названии чайной машины, идею которой нам подарили китайцы, мы, русские, отразили не столько реальность – сколько национальную нашу мечту? И дело здесь не в одной только лени. Да, русский Емеля, конечно, ленив, и он хочет, чтоб печь самоходом несла его в царский дворец; но в Емелиной лени содержится много всякого-разного. Это и равнодушие к мелким хлопотам быта, и склонность души к созерцанию – без желания непременно урвать себе пользу – и та мудрость, которая нам говорит: сколько ни хлопочи, всё равно в домовину-то ляжешь с одною лишь свечкой в руках…

 Посмотрите, как много у нас, русских, слов с корнем «сам». Тут и уже упомянутый самовар, и ковёр-самолёт, и какой-нибудь там самострел, самосвал, самоход: кажется, мы непрерывно мечтаем о том, чтобы всё, средь чего мы живём, совершалось само собой – не мешая нам тешиться неторопливою радостью жизни.

 А само-бытность – важнейшее качество как человека, так и народа? Ведь истинно жив и достоин себя самого только тот человек и народ, кто существует не по чьей-либо внешней указке и воле, а живёт сам из себя, само-бытно – подчиняясь велению собственных сердца, души и ума. В конце концов, лишь на пути самобытности мы становимся ближе к Тому, Кто являет собою само бытие.

 Вот как мы далеко залетели в своих рассуждениях от самовара, от его потаённого гула, от свиста пара под задрожавшею крышкой, от сладких запахов сдобы и мёда, что так часто сопутствуют горечи самоварного дыма. Но недаром я начал с того, что самовар напоминает космическую ракету: куда только нас с вами не занесёт его реактивная тяга…

 СМОРОДИНА. Порой кажется, что смородина – это как бы наш северный виноград, добравшийся с юга аж до Белого моря (какую смородину собирали мы с другом на Соловках!), и потерявший при этом в размере и сладости, но зато так прибавивший в главном из качеств: в своём аромате. А то, что смородинный лист так похож на лист виноградный – лишь укрепляет меня в этом наивном ботаническом заблуждении.

 Смородинный куст привлекает всегда – даже когда на нём нет спелых ягод. Вот, к примеру, апрель – земля только-только немного провяла – и ты идёшь в сад, на обрезку кустов. В космах бурой травы у забора желтеют цветки мать-и-мачехи, а над смородинными кустами порхают такого же цвета лимонницы. Стоишь, дышишь, щуришься на апрельское солнце и – пока нерешительно – пощёлкиваешь секатором: всегда жалко резать живые, хотя бы и старые, ветви. Но ты знаешь, что это смородине только на пользу: обрезанный куст молодеет и начинает выбрасывать стрелы новых побегов. Поэтому всё же решаешься на обрезание: поддевая секатором заскорузлые ветки – особенно те, что лежат на земле – туго жмёшь рукоять, нож хрустит – но не кровь брызжет со среза, а дышит живой, пряный запах смородины.

 Запах её – настоящее чудо. Филологи нам говорят, что само слово «смородина» происходит от слова «смердеть», то есть пахнуть. В нём есть что-то настолько бодрящее, сильное – что, кажется, этот запах поднял бы тебя и с одра самой тяжкой болезни. Да и весь апрельский, пока вяло дремлющий, сад, разомлевший в теплыни – он словно проснулся, вдохнув аромата смородинных веток и почек. Звон синицы пробил тишину; петух закричал у соседа в сарае; мяукнула кошка, и следом за ней заорал обезумевший кот – и всё это, весеннее, зазвучало в саду, пробудившись от бодрого духа смородины.

 Но обрезка идёт своим чередом. Скоро рядом с кустом, поредевшим и помолодевшим, как старик после стрижки, лежит целая куча нарезанных веток. Их жалко просто сжигать, и думаешь: а не пустить ли обрезки на черенки? Сорт отличный – и сладкий, и крупный – а старый-то куст, сколь его ни омолаживай, всё равно корчевать через несколько лет.

 Вот вскопана узкая грядка, отобраны крепкие, с крупными почками, черенки – и скоро их дюжина косо торчит из земли. Вот только полить их, как следует – весна нынче сухая – и ждать, пока они превратятся в кусты.

 Вообще, черенки означают бессмертие. Когда они пустят корни и ветви, когда каждый из них станет юным кустом – это будет точь-в-точь старый куст, уже к тому времени дряхлый и полузасохший. Даже когда старый куст будет срублен, сожжён и развеян по ветру, он всё равно будет жить в крепкой дюжине даже не то, чтоб детей – а себя самого. Ведь для растения, что размножается черенками – смерти не существует. Тело куста только с виду немного другое, но по своей генетической сути оно повторяет тот куст, от которого произошло.

 Так что не только своим ароматом нас привлекают апрельские эти кусты. Повозившись часок-другой с ними, начинаешь впадать в состояние странного – ну, не то, чтоб совсем равнодушия, а какого-то недоверия к смерти. Кажется: неизбежное исчезновенье всего, что нас окружает – как и грядущее исчезновение нас самих – это просто обман, в который жизнь заставляет нас верить, но сама-то она понимает, что это обман, и продолжается за условною и необязательной смертной чертой – как и этот смородинный куст, что обрезан сегодня, продолжится дюжиной собственных копий.

 Да и весь тот апрельский сияющий день, что тебя окружает, со всей синевой и теплынью, с порханьем лимонниц и звоном синиц – разве он не говорит тебе то же самое: смерти не существует? Есть только жизнь, есть весна, пробудившая всё, что дремало доселе – и есть этот пряный смородинный запах, в котором нам слышится словно намёк на возможность бессмертия…

 СОСУЛЬКА. Какое смешное, как будто из детского лепета, слово – для называния тех ледяных сталактитов, что висят на краях крыш и на желобах водостоков. В детстве каждого были сосульки – и, наверное, были ангины, от этих самых сосулек случавшиеся. Но как удержаться, когда это чудо сверкает вверху над тобой, когда с него сыплются зёрна капели, и когда всё вокруг так наполнено светом весны? Не говоря уж о воробьях, которые плещутся в струях капели, словно под душем – но даже сонные мухи, и те просыпаются, чуя весну. Вон они, спотыкаясь как пьяные, бродят по солнечным стенам и даже пытаются пробовать крылья: их брунзжащий, прерывистый звук, позабытый тобою за зиму, тоже вливается в музыку яркого дня.

 Правда, сосульку бывает не так-то и просто достать. Особенно, если тебе всего пять лет, и ты так укутан, что поднять руку вверх почти невозможно. Но всё-таки, оскользаясь на обледенелом сугробе, ты дотягивался до сосульки – варежка вмиг промокала – и отламывал её ледяную верхушку. Но она тут же выскальзывала из пальцев и разбивалась на звонкие брызги. Какая досада! Надув губы, упрямо сопя, ты тянулся к следующей сосульке. Теперь ты был осторожнее – опыт есть опыт – и вот твёрдый, холодный, сочащийся влагою конус лежал у тебя в руках.

 В этот момент ты испытывал разочарование – едва ли не первое разочарование в жизни. Сосулька вон там, наверху, под застрехой сарая, вся в солнечном блеске – была вовсе не то, что вот эта холодная мокрая палка из серого льда, от которой уже начинали стыть пальцы. Торопясь как бы что-то исправить, пытаясь как будто вернуть восхищение этой сосулькой, ты лизал её раз, и другой – но разочарование лишь нарастало. Вкус ледышки был пресный, холодный, совсем никакой – разве об этом мечталось, когда ты тянулся к сияющей радужным нимбом сосульке?

 Да, это был важный опыт. Нечто вдали, и оно же в руках у тебя – это были настолько различные вещи, что впору было задуматься: стоит ли вообще приближаться к тому, средь чего ты живёшь – и, тем более, брать его в руки, пытаясь присвоить? Мир вдали – на расстоянии, так сказать, взгляда – бывает прекрасен; тот же мир, но вблизи – может быть много-много скучнее и хуже…

 Но ещё удивительнее другое: сколько ни обманывайся в своих ожиданиях, сколько ни разочаровывайся – в той же самой, к примеру, сосульке – всё равно она будет притягивать взгляды и душу. Да и как не залюбоваться – тем, как блистает на солнце сияющий конус, и как с него льётся капель? Словно солнечный свет так наполнил сосульку, что избыток его теперь падает чередою сверкающих брызг – а внизу, под застрехой, они разбиваются о волнистую наледь, там висит влажный туман, и в этом тумане вдруг видишь мерцание радуги…

 ТАТАРСКИЙ БИФШТЕКС. Самое варварское из блюд я попробовал в сердце Европы: татарский бифштекс нам с женой принесли в Праге.

 В том кафе меню на русском не было, чешского я не знал, а английская надпись «Tatarian beef-stake» мало что мне говорила. Цена показалась приемлемой, вес блюда – очень даже приличным; и я, не долго думая, заказал для жены именно его. Помню, как официантка, оглядев нас с Еленой, удивлённо подняла брови – и как я удивился её удивлению.

 Довольно скоро – я не выпил ещё и кружку пльзеньского – официантка явилась с подносом, на котором краснела гора совершенно сырой, перекрученной на мясорубке, говядины.

 Жена наотрез отказалась даже попробовать этот, как она выразилась, «кошмар». Я же, для храбрости заказав ещё пива, стал думать, как превратить эту гору говядины во что-нибудь мало-мальски съедобное. В центре мясного холма, в углублении-кратере, колыхалось сырое яйцо; рядом с мясом был насыпан резаный лук; соль, горчица и перец стояли у нас на столе. Я перемешал мясной фарш с яйцом и луком, обильно его посолил и поперчил, добавил горчицы – и, в итоге, получилась огромная сырая котлета.

 - Может, отдашь это на кухню, чтобы пожарили? – предложила Елена.

 - Нет, - решил я. – Буду есть, как положено, в сыром виде.

 Багровый бифштекс истекал мясным соком. Парной запах свежей говядины не могли перебить даже перец и лук. И я вдруг почувствовал странное беспокойство – когда наклонился над блюдом с татарским бифштексом и вонзил зубы вилки в сочное мясо. Что-то звериное, древнее шевельнулось во мне: словно некий инстинкт, уж давно похороненный и позабытый, вдруг пробудился от зова парного, кровавого мяса…

 То, что я начал жевать – оказалось неожиданно вкусным. Бифштекс был сочен и свеж, пресновато-остёр – лук, горчица и перец пришлись как нельзя более кстати – и я, чуть не с урчанием поглощая сырую говядину, так увлёкся, что опомнился только тогда, когда на блюде почти ничего уже не оставалось.

 - Ну, ты и обжора! – удивлённо сказала жена.

 - Да ты попробуй, как вкусно!

 - Нет уж, спасибо, - помотала она головой. – Я не волчица.

 «А я, значит, волк? – подумал я про себя, принимаясь опять за бифштекс. – Вот уж не ожидал разбудить в себе зверя…» Да, что-то явно менялось в моём отношении к миру. Всё, что было вокруг: все эти столики, стулья, картинки на стенах, цветные бутылки над барной стойкой – весь этот уют старой пражской пивной – всё показалось вдруг тесным, мелочным, скучным. Душа затомилась в тоске по тому, что так трудно выразить словом, но что неизбывно живёт в глубине человека, и не позволяет ему быть вполне примирённым с собою и собственной жизнью. Мучительно вдруг захотелось простора и воли, движения, ветра; быть может – бурана в степи; может – ночи и полной луны…

 Тогда, доедая кровавый бифштекс – я, мне кажется, понял, отчего воет волк на луну. Он ведь тоже, бедняга, томится невнятной тоской – наподобие той, что терзает меня – и не знает, чем, кроме протяжного воя, выразить боль и тоску одинокой звериной души.

 Но ведь это же самое чувство глубинной тоски и меня заставляет всю жизнь писать то, что пишу: тоже, в сущности, выть на луну – но посредством пера и бумаги…

 ТОМАТНЫЙ СОК. Долгое время я думал, что источник томатного сока – вовсе не помидоры, а те стеклянные красные конусы, что стояли по гастрономам и овощным магазинам. Эти высокие, яркие конусы сока, так всегда привлекавшие взгляд, были очень к лицу той эпохе, в которой прошли мои детство и юность. Те, кто помнит, со мной согласятся: полвека назад жизнь была, в целом, довольно бесцветна – монотонно-унылыми были витрины, дома и одежда – а вот разноцветные конусы сока придавали застойной эпохе некую бодрость и живость физиономии.

 Был сок гранатовый, тёмный, как кровь; был абрикосовый, солнечно-жёлтый; был сливовый, почти фиолетовый; был бесцветный берёзовый; были тыквенный, яблочный, грушевый соки – каждый имел свой оттенок и вкус, и все они вместе как раз составляли палитру, вмещавшую чуть ли не все цвета того времени.

 Но самым ярким – и, кстати, самым дешёвым – был сок томатный. Стакан стоил десять копеек; даже берёзовый стоил дороже – одиннадцать. Бывало, отстоишь очередь, сжимая в кулаке эти самые десять копеек, затем кладёшь гривенник на жестяную тарелочку, прибитую к стойке гвоздём – а продавщица берёт в это время гранёный стакан, оставшийся от предыдущего покупателя, и начинает его ополаскивать в струях забавного маленького фонтана: помню, всегда хотелось самому подёргать за его рычажок и побрызгать водой. Но вот стакан подставлен под красный конус, краник повёрнут – и пенный сок, тихо шипя, наполняет стакан.

 Томатный сок, чтобы он был вкуснее, полагалось солить. Солонкой служил всё такой же гранёный стакан, до половины наполненный влажной розовой солью. Сунешь ложку в стакан – она облипает крупинами соли – затем крутишь ей в соке, чтоб завертелась воронка из розовой пены – и, наконец, начинаешь пить горьковато-солёную мякоть, столь вкусную, что трудно остановиться, пока стакан не опустеет.

 - Мальчик, усы подбери, - с улыбкою говорит продавщица.

 Рукавом утираешь томатные губы, киваешь: «Спасибо!» – и бежишь к магазинным дверям, в ту жизнь, где ты будешь взрослеть, становясь из ребёнка подростком, затем сумрачным юношей (юность, по сравнению с детством, всегда как-то сумрачна); но томатный сок, словно верный товарищ, будет сопровождать тебя все эти годы.

 Вот, к примеру, студенчество. Томатный сок был основой двух популярных напитков, один из которых служил для питания, а другой – для студенческих вечеринок. Первый – сок со сметаной. Возьмёшь полстакана сметаны, дольёшь доверху соком, чуть посолишь, перемешаешь – получается нечто густое, розовое и очень сытное. Ещё кусок-другой хлеба – вот тебе и обед; пару лекций потом ты можешь спокойно дремать: твой желудок не скажет ни слова упрёка.

 А второй из напитков – знаменитая «кровавая Мери». Для нас, первокурсников, это был как бы пропуск во взрослую жизнь. Фокус был в том, чтоб осторожно, по лезвию ножа, налить водку в стакан поверх томатного сока – так, чтобы жидкости не перемешались. И тогда над густым красным соком дрожало прозрачное марево водки, сквозь которое можно было рассматривать комнату, лица приятелей, стол с бутылками – даже окно, за которым бесшумно падает снег.

 Чем хороша была «кровавая Мери» – так это тем, что в ней выпивка совмещалась с закуской. Сначала глотаешь холодную горькую водку – а следом густой мягкий сок, смывающий водочный привкус. В этом таилось коварство кровавой красотки: готовить «Мери» было так интересно, а пить так приятно, что трудно было соблюсти меру «Мери» (ого: каламбур!), и все, кто участвовал в пиршестве, быстро хмелели. Застолье делалось шумным и бестолковым, стены и потолок уплывали, и только стаканы томатного сока, красневшие посередине стола, ещё останавливали осоловевший твой взгляд и ненадолго задерживали неудержимое и колдовское вращение мира…

 А наутро, с больной головой, ты искал помощи всё у того же томатного сока – который шипящею красной струёй лился в стакан из стеклянного конуса. Магазин был полупустым, пивом так рано не торговали, и лишь томатный сок мог тебя исцелить. Словно сама жизнь вливалась в тебя с каждым глотком: голова прояснялась, тревога похмелья стихала. И твой взгляд уже не томился, натыкаясь на выступы и на углы окружавшего мира – а как-то мягко и ласково плыл, огибая предметы, любовно и бережно перебирая всё то, что тебя окружало сегодняшним утром. И гранёные эти стаканы на мокром подносе, и конусы сока, и добрый сочувственный взгляд продавщицы, и редких прохожих – и, наконец, отраженье себя самого на стекле магазинной витрины. Твой двойник держал в руке стакан сока, улыбаясь тебе – и было так радостно видеть его глуповато-рассеянную улыбку…

 УЛИЧНОЕ КАФЕ. В дни моей юности уличное кафе можно было встретить разве что в кадрах западных фильмов – да ещё на страницах Ремарка или Хемингуэя. Тоталитарная жизнь, хотя и клонилась к закату, но не допускала такой вольности, как выпивать и закусывать прямо на тротуаре, свободно рассевшись за столиками. Нет, тогдашние улицы были унылыми и одноцветными, словно казарменные коридоры, и служили, скорее, не для наслаждения жизнью, а для механического перемещения из одной точки пространства в другую.

 А ведь мечталось усесться за столик в тени полосатой маркизы, заказать бутылку вина с какой-нибудь лёгкой закуской, и любоваться на девушек, соблазнительно шагающих мимо…

 Но, чем ещё удивительна жизнь – это тем, что она исполняет мечты. Прошло каких-нибудь тридцать лет – и вот я сижу за столиком уличного кафе, а вокруг течёт жизнь Театральной, чудесной улицы старой Калуги. Не так давно часть её сделали пешеходной, замостили брусчаткой, уставили лавочками, и она сделалась театральной в прямом смысле слова: то есть превратилась в продолжение театра, чьи колонны так величаво – вылитый Парфенон! – высятся за фонтанами и за липами площади (тоже, естественно, Театральной).

 Уличный театр наблюдать можно, кажется, целую вечность. Дети и старики, пьяницы-забулдыги и разряженные красотки, подростки на роликах и велосипедах, торговцы и грузчики, попрошайки и полицейские, растрёпанные музыканты с гитарами, художники, готовые за пять минут нарисовать ваш портрет – кого только не увидишь на Театральной за те полчаса, что посидишь под навесом уличного кафе. И, главное, все те люди, что пёстрым потоком текут мимо тебя, сейчас в полном смысле живут: дети играют, красотки красуются, молодёжь, как ей и положено, напоказ валяет дурака, старики радуются погожему дню и возможности тихо присесть на скамейке. Не спеша оглядевшись, послушав обрывки речей, увидишь ссоры и примирения, встречи старинных друзей и признанья в любви, заметишь «разлуку с улыбкою странною», подсмотришь начало – чем чёрт не шутит? – любовной истории – словом, окажешься зрителем интереснейшего спектакля под названием «улица Театральная». Ни один театральный партер – а уж я, слава Богу, сиживал в театрах – не приносил мне такого зрительского наслаждения, как это кафе на Театральной – да и все прочие уличные кафе, в которых мне доводилось выпить чашку «эспрессо» или стакан пива.

 Сидишь там, бывало, и думаешь: да ведь это же рай! Ибо что ещё люди создали настолько же близкого к райскому саду, как эти вот лёгкие столики в окруженье цветочных вазонов, эта тихая музыка, эти красавицы – да ещё и бокалы с нектаром, стоящие перед тобою? И какой длинный путь – это ж только представить! – прошло человечество от первобытных костров, где оно коротало досуг, прикрываясь от холода шкурами и мусоля кость мамонта – до возможности посидеть этак вот, в праздной неге, удобстве и в окружении всяческой красоты. В сущности, путь так называемой цивилизации, длящийся вот уже тысячи лет – это и есть путь от костров неолита вот к этим столикам, этим тарелочкам, чашечкам кофе, этим хорошеньким официанткам в коротеньких юбочках с именными табличками на белоснежных передниках, к этой магии исполненья желаний по первому мановению пальца: ко всему, словом, тому, к чему мы настолько привыкли, что уже и не замечаем всей этой, воистину невероятной (и, согласитесь, вряд ли заслуженной нами) неги и роскоши жизни.

 И поэтому нет-нет, да и подумаешь: а не сон ли всё это? Не брежу ли я, не помстились ли мне эти милые девушки – кто их научил так приветливо, искренне улыбаться клиентам? – эти креманки с мороженым, эти салфеточки, эти бокалы? Что, как я вдруг проснусь – и, вместо райского сна, окажусь в первобытной пугающей тьме, в окружении холода, снега и волчьего воя?

 ХЛЕБ. Так и хочется написать: «Хлеб наш насущный». То есть первое, что приходит на ум в отношении хлеба – это молитва.

 Хлебу надо бы посвятить не главу кулинарного словаря – а отдельную книгу. Виды хлеба столь разнообразны, а значенье его так велико, что охватить тему хлеба несколькими страницами – почти то же самое, что пытаться, раскинув руки, обнять бескрайнее, уходящее к горизонту, хлебное поле.

 Но цель этих страниц – не описание блюд или способов их приготовить; то, что пишу – всего лишь попытка поблагодарить за дары, которыми жизнь так щедро делилась со мной. А для благодарности хватит и нескольких слов – лишь бы они были искренни.

 Чтобы почувствовать настоящий вкус хлеба, надо долго идти пешком – лучше несколько дней, чтобы как следует утомиться, чтоб истончить, так сказать, свою плоть – чтобы сбитые стопы саднили, а желудок подводило от голода. Только в таком состоянии, когда тело измотано, а дух возбуждён, кусок хлеба воспринимается так, как должно: то есть, как нечто животворящее.

 Помню, в Шамординском монастыре, куда мы с товарищем шли трое суток вдоль речки Серёны, по местам поразительной шири и красоты – я битый час бродил, спрашивая: где бы раздобыть хлеба? Послушницы и монашки, отвечая мне, потупляли глаза и говорили так тихо, что их было трудно понять. То ли поэтому, то ли потому, что вечерняя трапеза уже кончилась, найти хлеб долго не удавалось. Наконец я зашёл в неприметные двери пекарни. На мой голос вышла молодая послушница.

 - Чего вам? – спросила она, отирая руки о передник.

 - Мне бы хлеба…

 - А вы паломник, или просто турист?

 - И то, и другое. Три дня сюда шли.

 Послушница улыбнулась, затем отошла за перегородку и возвратилась, неся в руках круглую, мукой обсыпанную, ковригу.

 - Держите.

 - Сколько я должен?

 - Да Бог с вами…

 - Ну, спаси Господи!

 Мы поклонились друг другу, и я вышел, прижимая к груди тёплый и упоительно пахнущий каравай. Казалось, я не иду, а плыву внутри хлебного облака. Хлебный дух, окружавший меня, согревал и окутывал всё: и тяжёлую кладку забора, и цветники с «золотыми шарами», и старуху-монашку, сидевшую возле коробки с котятами – их раздавали, что называется, в добрые руки – и деревянную лестницу, которая круто спускалась в долину Серёны. Внизу был наш лагерь – мой друг удил рыбу к ужину – и я вдруг подумал, что рядом с такой вот душистой ковригой и костёр-то не обязательно разводить: мир и так обогрет и утешен дыханием хлеба…

 Приезжая в незнакомую страну, я первым делом старался попробовать местного хлеба – может быть, неосознанно чувствуя, что именно в хлебе вернее всего выражается суть и страны, и народа.

 Помню зябкое утро в Хургаде – дул хамсин, пыльный ветер пустыни – разноцветные пластиковые пакеты, парящие в бледном египетском небе, и помню торговца хлебом, пробиравшегося со своею тележкой среди скопища автомобилей. Я купил у него ещё тёплую, золотистого цвета ячменную лепёшку. Подержав её возле лица, подышав пресным, немного горчащим золой, сытным духом, я подумал, что точно такой же хлеб ели, наверное, и фараоны. Тысячелетия вряд ли существенно что-нибудь изменили в технологии и рецептуре ячменных лепёшек; стало быть, и Нефертити, и Клеопатра могли точно так же, как я, рвать пахучую мякоть, вдыхать запах хлеба, и чувствовать, как на зубах похрустывают то ли крупинки золы, то ли песок вездесущего ветра хамсин…

 Совсем по-другому я познакомился с «пане», хлебом Италии: это было в Сиене. «Ком-пания», кстати – это итальянское слово, которое и означает «общий хлеб». Тот хлеб показался мне твёрдым, как камень – почти как булыжники той знаменитой сиенской площади, на которые я уселся, чтобы перекусить. Потом мне объяснили, что итальянцы намеренно выпекают хлеб с очень твёрдою коркой; причём любят есть только её, оставляя мякоть – ну, например, голубям или чайкам, которые тоже не прочь побыть в нашей с вами «ком-пании».

 Так вот я сидел на покатых и тёплых сиенских камнях, вполуха слушал гомон туристов, грыз каменно-твёрдую хлебную корку и прихлёбывал из бутылки отличное «Монтепульчано». Камни средневековья, серые и неизменные вот уже восемь веков, окружали меня. И я вдруг почувствовал, до чего же тесна и трудна была жизнь среди этих камней, среди холода, смрада и страха, в постоянном присутствии войн и чумы. Отрадного в этой тесной каменной жизни было немного – вот, разве, хлеб да вино в компании старых друзей, преломляющих «пане»…

 А хлеб Индии я впервые попробовал в Варанаси, древнейшем из городов человечества. Смеркалось. Я устал за огромный и сложный, наполненный встречами и переездами, день – и есть, если честно, совсем не хотелось. Но я всё же вышел из той ночлежки, где остановился (славное было местечко: из нужника в моём номере нечистоты стекали прямо на улицу), и пошёл поискать, где торгуют едой. Но все лавки здесь, на окраине города, уже были закрыты; вдоль улиц лежали дремлющие собаки, коровы и нищие; единственное, что мне удалось разыскать – это уличную печь, топившуюся кизяком, возле которой, сидя на корточках, грелись два тощих индуса. Печь была допотопного вида: закопчённая, чёрная, в трещинах, в сизом кизячном дыму. Но лепёшки на ней выпекались: целая стопка смуглых «чапати» лежала на глинобитном приступке печи. Я поздоровался, показал на лепёшки и протянул индусам бумажку в десять, кажется, рупий. Оба заулыбались, вскочили, залопотали на неразборчивой смеси английского с хинди – и вот я держал в руках две подгорелых лепёшки. Вид у них был не просто древний – а доисторический. Возможно, уже в каменном веке могли выпекать вот такие «чапати», состоящие из муки и воды – даже соли в них, кажется, не было. Но они были очень индийскими: я почувствовал в них то достоинство нищеты, которое очень трудно понять и принять европейцу. Мне же, русскому – да ещё с моей редкой фамилией – был понятен и близок этот пресный, первичный вкус хлеба – и та глубина простоты и смирения, что так явственно в нём ощущалась.

 А вот Центральная Азия, та меня угощала своим – и опять удивительным – хлебом. Точнее, хлебами: в Узбекистане каждая область печёт свой особенный хлеб. Лепёшки Хивы, Самарканда, Ташкента или Бухары отличаются друг от друга не менее, чем таджикская (то есть, по сути, персидская) мягко-певучая речь отличается от торопливой, напористой речи тюрков-узбеков. Но было в тех азиатских хлебах и нечто общее: их подражание солнцу. Не говоря уж о форме – всегда правильный круг – и их солнечный цвет, и, главное, те солярные знаки-узоры, что пекари набивают по золотистому полю лепёшки – это всё, несомненно, отголоски зороастрийского поклонения солнцу-огню.

 Узоры узбекской тандырной лепёшки можно рассматривать долго – как и тканый узор на ковре, или затейливо-сложный орнамент на пёстром фасаде мечети, или вязь древнего почерка «куфи» на рукописных страницах Корана. А сам тандыр, что нам дарит вкуснейшие эти лепёшки? Эта древняя азиатская печь чем-то напоминает старинную пушку – особенно, если это тандыр на колёсах, который нередко встречается на азиатских базарах. Только сделана эта пузатая пушка не из чугуна, а из глины; и заряжают её, вместо ядер и пороха – тестом. Поутру, где-нибудь на затерянной улочке старой Хивы или Бухары, слышишь, как весело трещит хворост в тандырах, чувствуешь горький дымок, что тянется по-над дувалами, и порой видишь, как из жерла тандыра вырываются искры и пышет огонь. Это значит, что скоро начнут печь лепёшки. А вот и хозяйка: весёлая полная женщина с ясным лицом, в платье, пёстром, как перья павлина. Засучив рукава, она споро мнёт тесто и что-то, смеясь, кричит детям – которые целою черноголовою гроздью выглядывают из двери дома.

 Из жерла тандыра пышет огненным жаром. Но, если хворост уже прогорел, на дне остаётся лишь слой сизовато-малиновой, лёгкой золы – по которой время от времени пробегают последние судороги огня. Кажется, это чей-то огромный, уже засыпающий, глаз: он то смежает дремотные веки – то неожиданно вновь полыхнёт огнём жаркого взгляда…

 Прежде чем лепить тесто на стенки тандыра, хозяйка от кисти и до плеча обматывает правую руку тряпьём: иначе можно обжечься. Затем она веником брызгает воду на стенки печи – и из тандыра, клубясь, вырывается пар. Хозяйка подхватывает пластины теста, быстро перегибается внутрь дышащей жаром печи, и уверенно-точным броском пришлёпывает лепёшки к стенкам тандыра. С каждой секундой её лицо багровеет, глаза начинают сверкать шальным блеском, чело покрывается потом – и кажется: это уже не знакомая нам Зульфия, а вдохновенная жрица огня, задремавшего в сумрачных недрах тандыра…

 Но что ж мы забыли о русском – родном, дрожжевом чёрном хлебе? Ведь без него нельзя даже представить вкус многих блюд, столь привычных нам с вами: вообразите, к примеру, селёдку – да с белою булкой. И, похоже, едят дрожжевой чёрный хлеб только в России – что сразу возводит его в ранг национального достояния. Известно, как тосковали эмигранты всех волн именно по чёрному хлебу – и как буханка «чернушки» была для них лучшим подарком. Да что там: ещё Александр Сергеевич Пушкин отметил связь чёрного хлеба – и русской души. Цитирую: «Это напомнило мне слова моего приятеля Шереметева по возвращении его из Парижа: «Худо, брат, жить в Париже: есть нечего; чёрного хлеба не допросишься!» («Путешествие в Арзрум во время похода 1829года»)

 Выходит, что чёрный хлеб, с его характерной кислинкой, не просто так нужен русским, что они без него начинают скучать-тосковать – но именно дрожжевой чёрный хлеб созвучен чему-то важному в русской душе. Не забудем, что и исконные наши напитки – и хлебный квас, и хлебный самогон – тоже являют собой как бы дрожжевой хлеб, но возведённый в иную по градусу степень.

 Может, именно та дрожжевая, бродильная суть, что содержится в чёрном хлебе – и является русскою сутью? Может, наша особенность именно в том, что мы неспособны быть пресными, вяло-спокойными – то есть вполне примерёнными сами с собою и с жизнью – но всегда ждём и жаждем чего-то иного (спроси – мы и сами не знаем, чего); да, мы всегда жаждем того, чего в мире, увы, не бывает – но без чего так томится и чахнет бродильная наша душа…

 ЦВЕТКИ ИВЫ. Вы, может быть, спросите: с какой это радости – или с какой голодухи? – надо было жевать эти пресно-медовые, с лёгкой горчинкою, пуховые серёжки-цветы, от которых на пальцах, губах и одежде желтела пыльца?

 Но тогда придётся рассказывать чуть ли не весь байдарочный майский поход по реке со смешным названием Вытебеть. Мутные воды реки закручивались в быстро скользящие водовороты; под обрывами кое-где хоронились последние грязные льдины; на отмелях бурые пряди прошлогодней осоки были словно причёсаны паводком, а на глинистых оползнях берега зеленели широкие листья мать-мачехи. Под дождём, лившим весь день, мы прошли мимо трёх сёл, с названиями одно веселее другого – Плохино, Дурнево, Дебри – и к вечеру так измаялись, что, казалось, заснём как убитые. Но не тут-то было: соловьи с такой яростной силой свистели и щёлкали по всем ближним и дальним кустам – что звенело в ушах, и глаза не смыкались. Лишь под утро удалось погрузиться в тревожную, полную странных видений, дремоту.

 Тем удивительнее оказалось пробуждение. Дождя больше не было слышно, тент палатки как будто светился – и, когда я вылез наружу, то зажмурился от свежести и чистоты ясного майского утра. Ненастья не было и в помине; остатки тумана курились по-над урёмой; за кустами краснело огромное низкое солнце; небо, белёсое у горизонта, чисто синело в зените, а от семи перевёрнутых наших байдарок по бурому лугу стелились широкие тени. Днища лодок пестрели заплатами – а вёсла, лежавшие рядом, уже начинали отбрасывать яркие блики. И вообще, всё вокруг переливалось, сверкало: мокрые листья ракит и оттяжки палаток, миски возле кострища, рукоять топора и порожняя банка из-под тушёнки. Солнце на глазах поднималось, словно выпутываясь из переплетенья ивовых ветвей, становясь всё бледнее и меньше – но жарче.

 Как раз выбрался из палатки и Алексей, большой знаток трав и кореньев – и предложил, пока народ спит, набрать разных цветов для утреннего салата. А цветов вокруг было много: это и продолговатые, нежно-мохнатые ивовые серёжки, и весёлые ярко-жёлтые примулы – их ещё называют баранчики, ключики или божьи ручки – и разноцветные медуницы, и застенчивые собачьи фиалки.

 Интереснее всего было собирать жёлтые ивовые серёжки. Воды на кустах было столько, что приходилось сначала отряхивать их – целый дождь осыпался на землю – но, всё равно, рукава наших курток-штормовок промокли насквозь, и парили на солнце. Скоро парили уже не одни наши куртки, но и кротовины луга, и чёрные днища байдарок, и те ивовые кусты, с которых мы обирали серёжки. Против солнца белёсый пар радужно переливался. А вот и первые пчёлы загудели, упруго завились у верхних, подсохших ветвей ивняка.

 В моей жизни было немного таких же вот ясных и радостных утр. Помню острое чувство: то, что мы собираем в пакеты, и то, что мы видим вокруг – что всё это именно дарится нам. Солнце, небо, река, живописный наш лагерь и мокрые эти кусты, с которых мы осторожно снимаем мохнатые, жёлтые, мёдом пахнущие серёжки – преподносится нам, словно щедрый – не по заслугам! – подарок. И лучшее, чем мы можем отблагодарить за него – это просто-напросто радоваться всему, из чего состоит это ясное утро. И кочкам луга, и мокрому ивняку, и гудению пчёл, и мельканию чибиса над косогором – радоваться, в конце концов, даже самим же себе, оказавшимся в это чудесное утро не где-нибудь, а именно здесь, на речном берегу.

 Когда наши пакеты уже были полны разнообразных цветов и соцветий – как раз начала просыпаться и остальная наша команда. Палатки зашевелились от толчков спин, локтей и голов, завжикали «молнии» спальных мешков и палаточных тентов, зазвучал смех, кашель, хриплые утренние голоса – наш бивак на глазах оживлялся. Что ж: пора было взбадривать костерок, вешать на перекладину воду для чая, да заправлять маслом цветочный салат, наш сегодняшний завтрак.

 ЧАЕПИТИЕ В ВАРАНАСИ. Индия подарила мне незабываемое чаепитие: в городе Варанаси, на берегу Ганги, рядом с пылающим погребальным костром.

 Маникарника-гхат – причал, на котором жгут мёртвых – легко отличить по поленницам дров и по кучам серого пепла, остывающим возле воды: перед тем, как столкнуть пепел в Гангу, его будут просеивать, извлекая оплавленные слитки золота и серебра – остатки тех украшений, что были на мёртвом.

 А, поскольку чай в Индии продают и разносят везде – то и на Маникарника-гхат я взял у разносчика глиняный черепок с дымным чаем, присел на поленницу дров, и стал, попивая горячую пряную смесь чая, сахара, молока и масалы, рассматривать, как в десятке шагов от меня горит погребальный костёр. Это очень напоминало походы: то, как, бывало, пьёшь чай у костра, отрешённо-задумчиво глядя в огонь. Только этот костёр был большим, и поверх кучи пылающих дров лежало мёртвое тело. Вот его стопы уже отгорели, упали – и служитель-индус длинной палкой заботливо пододвинул их к центру костра.

 Самым странным в той процедуре кремации была её простота и обыденность. Казалось, что для индусов это событие настолько же обыкновенно – как, скажем, стирка белья или приготовление чечевичной похлёбки. Смерть в Варанаси была лишена тех мистических ореолов, покровов и тайн, в какие мы с вами привыкли её обряжать; и вот такое наивно-простое, и одновременно глубокое отношение к смерти было главным уроком чаепития в Варанаси.

 Костёр полыхал; обгоравшее тело становилось всё меньше, чернее – его было всё трудней отличать от обугленных дров, на которых оно догорало – и я смотрел больше не на него, а на то, что было вокруг. Ночь густела; дыханье реки было влажным и тёплым; на соседних причалах горели огни и слышалась дробь барабанов: там шла пуджа Ганга-аарти, то есть ежевечернее поклоненье священной реке. Самым красивым во всей церемонии пуджи было то, как участники празднества пускали по воде цветочные плотики со свечами – и гладь реки озарялась сотнями зыбких огней, словно бы отражающих звёздное небо, с которого, по поверьям индусов, и начинается матерь-Ганга.

 А с костра, у которого я допивал остывающий чай, время от времени в небо взлетал сноп клубящихся искр, и тогда было трудно понять: где искры, где звёзды – а где свечи, плывущие по реке? Всё сливалось в живом хороводе огней: свечи праздника, смертные искры и звёзды, мерцавшие в небе – вдруг делались чем-то родственным, близким друг другу. Смерти здесь, у костров Варанаси, словно не было вовсе: а была перекличка огней между небом и Гангой, был треск костра, заглушаемый плеском воды, барабанною дробью и песнями пуджи, был единый поток, возносящийся к звёздному небу – туда же, куда, вместе с дымом, летела душа из почти догоревшего тела.

 Мало какое из чаепитий так утешало, как то чаепитие на Маникарника-гхат, рядом с костром, на котором сгорала лишь только телесная оболочка, тогда как само существо человека – как верим и мы, и индусы – оставалось таинственно-непостижимо и живо…

 ЧАЙ ПОД ДЕРЕВОМ БОДХИ. Пил я чай и под деревом Бодхи – самым, может быть, знаменитым и почитаемым деревом в мире. Растёт оно в Индии, в городе Богая; сидя под предком вот именно этого дерева, Гаутама Будда достиг просветления. Хоть с тех пор и прошло почти три тысячи лет, память об этом событии живёт и поныне: священное дерево Бодхи – главная из реликвий мирового буддизма.

 Когда я подошел к нему в предрассветных потёмках – было четыре утра – оно показалось не просто большим, а настолько огромным, что взгляд не мог охватить его целиком. Казалось, своими ветвями, лежащими на подпорках, дерево простирается даже не просто во тьму – а и вовсе выходит за пределы зримого мира, прорастает в иные, недостижимые людям, пространства.

 Под шатром колоссального этого дерева (чьё латинское имя: «ficus religiosa») могла бы свободно усесться и тысяча человек. Но пока что, перед рассветом, рядами рассаживались только подростки-монахи в оранжевых тогах – их было около сотни – и барабанщики возле больших барабанов. Чуть в сторонке уселся и я – и стал слушать, как глухо рокочут во тьме барабаны, и как монотонно бубнят, кланяясь дереву, молодые монахи.

 Трудно сказать, сколько длилась утренняя молитва. Ощущение времени вдруг пропадало, и только затёкшие ноги, да зябнущая спина время от времени возвращали в реальность. Точнее, время не то, чтобы вовсе исчезло, но оно бесконечно вращалось по кругу – точь-в-точь, как буддийский молитвенный барабан – и тем обличало обманную сущность себя самого. Но, вместе с тем, всё происходящее было так интересно, что я жадно рассматривал всё, что меня окружало. Так, я замечал обезьян и мангустов, шнырявших по серым уступам огромного храма, что высился в сумерках сразу за деревом Бодхи; видел кошек, лакающих молоко из тарелочек, расставленных там и сям; видел, как несколько бесшумных монахов с фонариками что-то ищут, согнувшись, под кроной священного дерева, и догадался: они собирают опавшие листья. Эти листья потом запечатывают в прозрачную плёнку и продают, как святыни.

 И ещё я заметил, что по рядам забубённо молящейся молодёжи разносят чай: в больших металлических чайниках с лебедино изогнутым носиком – точь-в-точь, как в наших советских столовых в былые года. Идея пить чай во время утренней общей молитвы мне очень понравилась; когда разносчик чая проходил мимо меня, я протянул ему и свою жестяную походную кружку. С готовностью он налил её доверху маслянисто-густым и дымящимся чаем цвета топлёного молока.

 - У нас чай очень хороший! – шепнул он мне, улыбнувшись так радостно, словно я осчастливил его, попросив угостить меня чаем.

 Чай, в самом деле, был очень хорош. Крепкий, густой, в меру сладкий, горячий, он не просто гнал прочь усталость и сон – то есть действовал на меня самого – но, казалось, влиял и на весь окружающий мир. То, что вокруг всё увереннее светало, что предметы решительно выступали из сумерек, что мир, так недавно бесцветный и плоский, становился объёмно-цветным – в этом всём мне мерещилось действие именно чая. Мир становился собою самим: с него будто сошли, наконец, наважденья колдующих Мар – тех волшебниц, которые, по преданию, соблазняли Будду – и я вдруг увидел реальность, как таковую.

 Я понимаю, конечно, что всё это было не совсем по-буддийски – согласно учению Будды, реальности нет вообще – но на меня чай под деревом Бодхи действовал именно так. Я видел и чувствовал: всё, что меня окружает – просыпается и обретает радостную достоверность. Шныряли мангусты, молились монахи, котята лакали своё молоко, ветерок шелестел кроной дерева Бодхи, стрижи проносились по чистому небу – и всё это было настолько прекрасным, что, предложи мне сейчас хоть сам Будда нирвану – разлуку с тем миром явлений, который я вдруг увидел с такой ясной силой – то я б отказался.

 Или это и было моим личным «сатори», то есть просветлением? Я чувствовал: раз есть мир – есть и я; и чем более мир, окружавший меня, полон, светел и радостен – тем более полон и светел я сам. «Что ж, – думал я. – Может, каждому нужно своё просветление? И моё – как раз в том, чтобы чувствовать радость реальности, видеть живую и неистребимую полноту бытия? Будда есть Будда, и у него был свой путь; а мне его дерево подарило сознанье того, что я неотрывен от мира, в котором живу, и этот мир ко мне добр – он, например, угостил меня крепким утренним чаем…»

 ЧИФИР. По настоящему я «чифирил» только студентом, во время дежурств в психиатрической клинике.

 Моё первое впечатление от этой больницы было такое – какое, быть может, испытывал Данте, начинавший своё нисхождение в ад. Санитарка открыла мне дверь, и я увидел большой коридор, в котором кипела – не подберу других слов – плазма безумия. Больных было ровно сто человек. И вся эта сотня бродила, бубнила, мычала и маялась между сумрачных стен коридора – томясь и не находя себе выхода. Пока мы с санитаркой шли к процедурному кабинету, волны безумцев то накатывали на нас, то расступались, освобождая дорогу. «Кто это?! Кто это?!» – кричали одни и указывали на меня; «Новенький, новенький!» – ликовали другие; «А я его знаю, я знаю его!» – вопили, кривляясь и дёргаясь, третьи.

 Санитарка, хромая старуха, не обращала внимания ни на кого: ей всё это было привычно и скучно. Я же старался не поднимать глаз и не оглядываться: мне было, мягко говоря, не по себе. Но картины безумного мира были настолько диковинны, что не заметить их было нельзя. Вот кто-то сосредоточенно и деловито рвал на себе одежду – стараясь, чтоб лоскуты выходили как можно ровнее. Кто-то, костлявый и голый, уселся на корточках на подоконнике – и раскачивался взад-вперёд, напоминая больную огромную птицу. Кто-то, спустив порты, задумчиво рассматривал свои гениталии, словно недоумевая: что это такое? В тёмном углу кого-то, кажется, били или душили – но этого я уже не успел рассмотреть, потому что мы, наконец, дошли до процедурного кабинета.

 Пока дежурная медсестра объясняла мне, новичку, обязанности «аминазинового» медбрата – я всё не мог позабыть те картины, которые только что видел за дверью. Казалось немыслимым, что я проведу в этом мире безумия целые сутки – а потом, может быть, ещё множество дней и ночей.

 Впрочем, я хотел рассказать о другом – о чифире. В свой второй выход в тот сумрачный коридор, куда днём выпускали безумцев (по палатам их разводили лишь на ночь), я заметил, что у стены, возле электророзетки, стоит несколько сосредоточенных пациентов, очевидно занятых чем-то важным. Присмотревшись, я понял: там варят чифир.

 Технология этого дела – формально запретного, но фактически издавна бытовавшего здесь – была такова. В литровую банку высыпалась целая пачка хорошего чая (я, помню, ещё удивлялся: откуда здешние пациенты доставали индийский чай, который мы, студенты, не могли найти днём с огнём?), затем наливалась вода, банка оборачивалась полотенцем, и в неё погружался самодельный кипятильник из двух жестяных полос. Сила этого примитивного кипятильника была просто чудовищна. Если дело происходило вечером или рано утром – то есть, при включённом электрическом освещении – то, стоило сунуть концы оголённого провода в ноздри розетки, как весь коридор погружался в потёмки: в лампочках тлели одни волоски – потому что всё электричество, сколько было его в проводах, начинало гудеть и вибрировать в банке с чифиром. За считанные секунды вода закипала, чайный настой вспухал рыжей пеной, и начинал клокотать так натужно и жадно, как будто хотел проглотить самого же себя…

 Чем-то всё это, бурлящее в банке, напоминало мне хаос безумия, что кипел и во всём отделении, меж обшарпанных стен коридора. Бурлящий чифир, который уже было трудно удерживать в нервно трясущейся банке – он вбирал в себя словно не только всё электричество, но ещё и томленье болезненных душ, те видения, страхи и бреды, что мучили сотню безумцев. Чёрный и масляно-вязкий, чифир мне казался не просто напитком – но чем-то вроде волшебного зелья, которое в том, кто его пригубил, открывало способности видеть людей и предметы насквозь, и даже – кто знает? – читать их сокровенные мысли.

 Здесь, в психбольнице, чифир был немалою ценностью. Но меня, в благодарность за то, что я не мешал больным варить это зелье, иногда им угощали. Маслянистую горечь чифира до сих пор помнят язык и гортань, а сердце до сих пор помнит то, как оно начинало частить после двух-трёх терпких глотков.

 Состояние, что возникало во мне после дозы чифира – оно что-то мучительно напоминало. Но я долго не мог догадаться: откуда мне так знакомо это сердцебиенье и сухость во рту, безысходное это томленье – и то напряжение взгляда, от которого, кажется, вот-вот начнут плавиться окружающие предметы? И вот только сейчас, спустя тридцать лет – я вспомнил, на что это было похоже. Чифир, будоражащий душу – он вызывал состояние, близкое к острой влюблённости. Именно это, похожее на отравление, чувство возникало, когда центром мира (к счастью, на время) становилась какая-нибудь симпатичная девушка – и ты не находил себе места. Сердце билось, во рту пересыхало – и, точно как от чифира, пропадал аппетит, покой, сон.

 Правда, в том мире безумия, в котором я коротал ночь за ночью, любить было, кажется, нечего. Напротив: в мире, укрытом за толстыми стенами психиатрических корпусов, всё было настолько дико и страшно, что, кажется, лучше б и вовсе не знать о нём – а не то, чтоб пытаться его полюбить.

 Но, странное дело: какие-то скрытые силы души – к тому же, души совсем юной, да ещё возбуждённой чифиром – были, кажется, безграничны. С изумлением я сознавал, что готов полюбить даже этот больной и пугающий мир, эту плазму безумия, что клокотала вокруг. И не просто готов – а уже, если честно, и полюбил эти стены и эти решётки на окнах, клубящийся гул голосов, эти бледные лица, что проплывали передо мной, как во сне (а безумцам, похоже, мерещилось, что они во сне видят меня, молодого медбрата с аминазиновым шприцем в руке), полюбил это коловращение сотни томящихся тел в гулкой мгле коридора, эти взгляды и эти гримасы, в которых страдавшая суть человека выражалась так откровенно и прямо – полюбил, словом, весь тот сумрачный ад, который именовался «хроническим отделением номер один».

 Да и так ли уж – думаю я вот сейчас, когда пишу эти строки – так ли уж сильно отличается наш с вами обыденный мир от того, что укрыт за решётками, стенами и замками больницы? Порою в привычной нам жизни безумия – как и страданья – не меньше, чем в психиатрической клинике. Но мы же и любим, и ценим ту жизнь, что судьба нам определила – хотя бы уже потому, что другой жизни не знаем. Похоже, что если даже судьба предоставит нам сущий ад – мы будем готовы любить и его, и этой своею любовью будем мало-помалу его превращать как бы в некое ожидание – или предчувствие? – рая…

 ЧУГУНОК ПОРОСЁНКА. Едва ли не первое кушанье, что я могу вспомнить – это чугунок с кисло пахнущим месивом для поросёнка, стоявший в сарае, в свином закуте. Другого дома, кроме деревенского, у нас тогда не было – мои молодые родители разъезжали в поисках места работы и жизни – я же, трёхлетний, был оставлен в курской деревне Выгорное, на попечение бабушки Марии Денисовны.

 Хорошо помню, как я пробирался в сарай – где сопел, топотал и похрюкивал поросёнок. Помню сумрак и резкую, пряную вонь закута, помню гудение мух, иглы солнца, торчавшие сквозь щели сарая – и тот чугунок с поросячьей едой, до которого я, сев на корточки, мог легко дотянуться сквозь загородку. Месиво в чугунке было тёплым и мягким – погружать в него руку было очень приятно – но ещё приятнее был его запах: сложно-сытный, картофельно-хлебный, густой.

 Что было в том чугунке? Конечно, картошка – некрупная, сваренная и растолчённая с кожурой – размокшие хлебные корки, которые пахли кисло и крепко, остатки вчерашнего супа, да листья крапивы, которую бабушка, помнится, дёргала голой рукой на низах огородов. И вся эта смесь пахла так упоительно вкусно – что не мог же я не разделить с поросёнком его трапезу? Запуская руку в тёплое месиво чуть не по локоть – казалось: чем глубже, тем гуща вкуснее – я с наслажденьем жевал и глотал хлеб, картошку и жёсткие листья крапивы. Поросёнок сопел, чавкая рядом со мной; иногда я рукой задевал его мокрый упругий пятак – он смешно фыркал – и мне было радостно оттого, что нас двое, и что в чугунке остаётся ещё очень много еды.

 Да, странной трапезой начинались пиры моей жизни… Если бы бабушка вдруг увидала, что ест её внук – внук уважаемой всеми учительницы! – она б ужаснулась; но ни поросёнок, ни я не собирались выдавать нашей тайны. А ныне я думаю, что ничего вкуснее той поросячьей картошки с крапивой я в жизни так и не ел. Интересно, что и потом, уже став подростком, я любил крошить хлеб в картофельный суп – подсознательно словно стремясь воссоздать то поросячье месиво, которое я так любил в детстве. Конечно, черпать его ложкой из тарелки было совсем не то, что рукою из чугунка; но некое всё же подобие было – и в дрожжевой кислоте хлебных корок, и в сытном картофельном духе.

 Можно сказать, эта пища, которую я разделил с поросёнком – была моим первым выходом в мир, моим причащеньем ему. И в моём отношении к жизни с тех пор мало что, в сущности, переменилось. Я так же тянусь к чугунку – то есть к миру, лежащему вне меня самого – и с благодарностью вижу, что чугунок этот не оскудевает. Мир со мной делится звуками, красками, пищей, питьём, голосами – всем, чем богат и наполнен он сам. Только жаль, нет того поросёнка, его карих глаз и упругого мокрого пятака, нет сопенья и фырканья, розовых полупрозрачных ушей – да и, конечно, никакое из яств, которые предлагает мне жизнь, уже никогда не сравнится с тем первым кушаньем из чугунка поросёнка…

 ШВЕДСКИЙ СТОЛ. Как известно, самое страшное для мечты – её исполнение. Получив и одно, и другое, и третье – человек не становится счастлив; скорее напротив. Изобилие губит само же себя и сближается, в этом смысле, с полным отсутствием чего бы то ни было. Возможности по-настоящему радоваться вкусной, к примеру, еде лишены как те, кто её никогда не пробовал – так и те, кто её переели до пресыщения. Так что шведский стол – то есть принцип: подходи и бери, сколько влезет – в сущности, злейший враг кулинарии. Лучший повар, по французскому выражению – голод; а голод и шведский стол – вещи несовместные, как гений и злодейство.

 Но первая встреча со сказочной скатертью-самобранкой оказалась всё же незабываемой. Я, как и все мои сверстники, вырос в обществе дефицита, где еда была ценностью, которую приходилось искать, добывать, выстаивать ради неё в длинных очередях: то есть нам приходилось платить за еду нечто большее, чем просто деньги – приходилось платить саму жизнь. И отношение наше к еде – разумеется, я беру его обобщённо и приблизительно – в чём-то смыкалось с тем давним, патриархально-крестьянским, когда даже смахнуть со стола хлебные крошки считалось грехом: слишком уж дорогою ценой был этот хлеб заработан. Существовало даже поверье: как только вес крошек, сметённых тобой со стола, сравняется с твоим собственным весом – черти тут же подхватят тебя и унесут в преисподнюю.

 И вот мы приезжаем в Египет, в Хургаду – и после купания в мелком, холодном и ветреном море (дует хамсин) вдвоём с женой идём завтракать. Зал ресторана просторен и солнечен, улыбки обслуги сияют – как сияют и белоснежные скатерти на круглых столиках. А вдоль стены тянется та самая сказочная самобранка: ряд длинных столов, которые ломятся от разнообразнейшей снеди. Еды здесь не просто обилие – здесь целые горы, озёра, поляны еды! Заполни я описанием-перечнем хоть десяток страниц – и то вряд ли смогу перечислить всё то, по чему разбегались глаза.

 Тем более, что простое перечисление блюд не передаст нам ни вкуса, ни запаха – ни того ощущения торжества кулинарного производства, которое так ошеломило меня в то далёкое утро в Хургаде. К тому же, всё то, что уносилось с тех изобильных столов немногочисленными посетителями ресторана – всё тут же возобновлялось (повара и обслуга следили за тем, чтобы самобранка не опустевала), и возникало немного бредовое ощущение дурной бесконечности сна, в котором ничто не меняется: сколько ни ешь, но столы продолжают ломиться от яств.

 И, при всём восхищении качеством блюд, их обилием, их непрерывным возобновлением – меня не покидало глубинное чувство греховности происходящего. Бесстыдство еды – вот что здесь угнетало. Её было так много, она была так привлекательна и так доступна – что от этого, как ни странно, почти пропадал аппетит. Мне было бы проще и лучше позавтракать хлебом да ломтиком сыра, чем бродить между грудами снеди, разрываясь в желаниях – хотелось попробовать и того, и другого, и третьего – и, в результате, усесться за столик, где еды оказалось так много, что могли бы сытно позавтракать не только мы с Леной – а человек шесть или семь.

 Но «подлец человек, ко всему привыкает» – сказал Достоевский. Привык к изобилию пищи и я. И скоро уже не стеснялся и не терялся, идя вдоль обжорных рядов, и даже досадовал: что-то, мол, нынче скудноват выбор холодных закусок? И даже обслуга всё чаще обращалась ко мне по-английски: видно, я всё меньше похож был на русского, и всё больше – на капризного и самодовольного англичанина. Вот что делает изобилие: оно портит нас даже быстрее – чем портятся, скажем, пирожные или салаты на шведских столах.

 ШОКОЛАД. Незабываемый «день шоколада» случился у меня в литовском Каунасе, куда мы приехали на большие соревнования по лёгкой атлетике. Это было в 1985 году, уже на закате Советского Союза – но всесоюзные соревнования тогда ещё проводились.

 День складывался неплохо: свои восемьсот метров я пробежал с личным рекордом и взял «серебро». Но, пока я сидел на скамье, ещё тяжко дыша и расшнуровывая шиповки – по громкоговорителю объявили, что изменился порядок забегов, и эстафета, в которой я был заявлен на первый этап, стартует уже через тридцать минут. А первый этап «шведской» эстафеты – это те же восемьсот метров, которые я только что отработал.

 Первая мысль была: не побегу. Любой «средневик» знает, что за тридцать минут не только не восстановишься после забега, но как раз раскиснешь до такого состояния, когда не то, что бежать – идти нету сил.

 Но выбора не оставалось. В нашей команде смоленского мединститута бегунов было всего четверо, как раз по одному на этап; откажись я бежать – команду снимают, и в общем зачёте мы получаем «нули»: тогда хоть не возвращайся в Смоленск. Так что, как сказал тренер – «хоть шагом пройди, но эстафетную палочку передай».

 Что было делать? Ну, повисел я на перекладине – ноги болтались тяжёлые, как не мои – ну, походил по манежу (дело было зимой, и мы выступали в крытом манеже), потом поделал наклоны и махи, чтоб хоть немного размять «забитые» бёдра. И вдруг подумал: а не поесть ли мне, для подкрепления сил, шоколада? Помнится, в фильмах про лётчиков или альпинистов я видел, как герой, в самый трудный момент, доставал шоколадную плитку – чтоб затем, подкрепившись, совершить очередной подвиг.

 Кстати, и кондитерский магазин был как раз напротив манежа. Накинув куртку, я вышел – зима в тот год выдалась бодрой, морозной – и купил две большие плитки горького шоколада: уж гулять, так гулять!

 Вернувшись, улёгся на маты в прыжковом, пока что пустующем, секторе – и зашуршал серебристой фольгой. Первую плитку съел с наслаждением. Огромный и шумный манеж окружал меня – и, если прикрыть глаза, начинало казаться, что куда-то летишь в гулком облаке звуков. Раздавались команды и крики, хлопки, по виражу часто стучали шиповки – кто-то усиленно разминался, пока я жевал шоколад – а потом, гнусавя, что-то вещал громкоговоритель. Манеж словно пульсировал звуками. И меня начинало немного мутить: то ли от съеденного шоколада, то ли от странного чувства полёта сквозь весь этот гулкий мир.

 Вторая плитка, которую я извлёк из серебристой шуршащей фольги, была явно лишней. Я жевал и глотал уже с неохотой, но с твёрдою верою в то, что шоколад придаст силы, которые так будут нужны уже через десять минут. Сердце билось сильнее и чаще – кофеин шоколада действовал, как ему и положено – а по ногам пробегала короткая дрожь: словно по ним пропускали электрический ток.

 Когда, через силу доев шоколад, я встал с поролоновых матов и пошёл обувать шиповки – я ощущал себя странно чужим самому же себе. Словно во мне теперь жил ещё один человек, непоседливый, нервный – и ему не терпелось сбежать от меня. Это ему, непоседе, трудно было стоять на месте, и он переминался, как будто дорожка жгла пятки; это его лихорадочный взгляд прыгал по лицам и по предметам, и был неспособен на чём-либо остановиться.

 Даже команду: «На старт!» – то есть секунду недвижности – было выдержать трудно. Зато, когда хлопнул стартовый выстрел – тот, внутри меня живший, взбудораженный человек рванул вперёд с такой прытью, что я едва поспевал вслед за ним. Первый круг из четырёх пролетел, как в угаре. Сначала рядом сопели, хрипели, толкались локтями соперники – но их становилось всё меньше; забег растягивался, и пустота одинокой усталости всё сильнее охватывала меня.

 Бегуны знают: усталость на средних дистанциях наваливается сразу – и тогда кажется, что вокруг тебя, вместо воздуха, вязкий сироп, сквозь который не протолкнуть своё ватное тело. Ещё не миновала и середина дистанции – а собственных сил у меня уже не оставалось. Только то возбуждение, которое я ощущал в себе после съеденного шоколада – оно ещё как-то подстёгивало меня, и я, сам не веря тому, держался вторым. Можно сказать, я бежал теперь на одном шоколаде. Это кто-то другой, но не я, наклонялся на виражах и старался растягивать шаг; это кто-то другой так затравленно-часто хрипел, что, кроме собственного дыхания, не слышал уже ничего.

 Весь третий круг и начало четвёртого какая-то пелена застилала глаза – от кислородной нехватки сознание помутилось – и от этого обморока я очнулся лишь на последней прямой. Впереди пестрела финишная разметка – там нетерпеливо переминались бегуны следующего этапа – а я чувствовал, что моё тело неудержимо падает на беговую дорожку. Но инерция бега – да ещё эстафетная палочка, которую я сжимал в левой руке – не позволяли свалиться кулём, и я как-то ещё успевал подставлять непослушные ноги под своё, потерявшее равновесие, тело. То есть, я падал – но в сторону финиша, и этого затяжного падения хватило как раз до разметок – где я смог передать палочку Саше Акименко, бежавшему следующий этап.

 В итоге, мы в той эстафете оказались вторыми – на первенстве мединститутов Союза! И шоколад – признаюсь спустя тридцать лет – сыграл в том немалую роль. Правда, ещё года три после этих соревнований я не мог про шоколад даже думать – до того я объелся им в Каунасе.

 ЩУКА В ФОЛЬГЕ. Щука в фольге – это главное блюдо байдарочных наших походов. Вот, к примеру, идём мы по Рессете, и впереди видишь славное место: крутой поворот, завихрения струй у морёного дуба, и резкий свал дна в глубину. «Не иначе, – говорит тебе внутренний голос, – там стоит щука…» И, только бросил под дуб блесну-вертушку, только-только успел ощутить дрожь её лепестка – как вдруг…

 Впрочем, этим «как вдруг» полон любой рыболовный журнал. Откройте – и вы прочитаете и про «удар, от которого спиннинг согнулся в дугу», и про «упругую тяжесть на леске», и про то, как зелёно-пятнистая щука, тряся головою, выпрыгивает из воды.

 Что до меня, то я плохо запоминаю и миг самой хватки, и то, как потом вывожу рыбу к лодке. В эти минуты как будто теряешь сознание – и приходишь в себя лишь тогда, когда, свесив руку за борт накренившейся лодки, хватаешь рыбу под жабры. Что ж, сегодняшний ужин поймали: вон, между стрингеров лодки лежит жёлто-зелёная щука, похожая даже не столько на рыбу, сколько на древнего ящера: кажется, эта страшная челюсть помнит эру какого-нибудь мезозоя.

 Близится вечер, пора ставить лагерь – и скоро киль лодки с шипеньем въезжает в прибрежный песок. Пока носим вещи и устанавливаем палатку, потом собираем сушняк для костра – наша щука так и лежит на дне лодки, как бы охраняя её. Скоро костер пылает, летучие мыши, как тени, мелькают на фоне закатного неба, а на заречном лугу недовольно, сварливо трещит коростель.

 Самое время приниматься за рыбу. Потроша её, всегда смотрим, что у щуки в желудке. У сегодняшней – толстый уж и увесистая плотица размером с ладонь. Надо же: чуть не лопаясь от того, что она уже проглотила, эта зверюга схватила ещё и блесну! Вот что значит инстинкт – вот кому не нужны кулинарные книги, чтобы разжечь аппетит.

 Потрошёная, щука стала намного стройнее. Теперь найти чистое место на травке, где будет удобно её завернуть. Лист фольги, зеркальный и нежно хрустящий, отражает не только пятно твоей лысины – но и алые блики костра. Прежде, чем заворачивать щуку в фольгу, надо её хорошо посолить, натолкать ей под жабры смородинных листьев, и не забыть бросить в брюхо перца и лавра. Когда щука завёрнута, серебристая эта торпеда напоминает космический инопланетный объект: словно рядом с костром, на росистой траве, появился посланец иных, нам пока неизвестных, миров.

 Но, посланец он или нет – а костра ему не миновать. Дрова как раз прогорели, и углей достаточно: на их жаркий, мерцающий круг мы и кладём нашу щуку в фольге. Да, не забыть засечь время: такой рыбе, как наша, надо лежать минут двадцать на каждом боку.

 А пока сходим-ка мы искупаться. Сейчас, в сумерках, всё словно густеет: и комариный назойливый звон, и чаща леса за нашей палаткой, и запах сосен, и даже вода Рессеты, которая к вечеру стала темнее и маслянистей. Но река – ты смотри! – удивительно тёплая, особенно по контрасту с прохладою вечера и со свежим туманом, который уже начинает белеть по низинам.

 Поёживаясь и ступая так осторожно, словно донный песок обжигает ноги, заходим в реку – и грудью ложимся на воду. Знаете это чувство одновременно и пробуждения, и засыпания – когда река мягко, но сильно подхватывает тебя? Ты как будто исчез, и как будто родился вот в эту секунду – родился, мгновенно сроднившись со всем, что тебя окружает: вот с этой сосной, что стоит, накреняясь, на обрыве, с розовым небом и с «подь-полоть» перепела на заречном лугу – со всем, словом, тем, из чего состоят эти летние сумерки на Рессете…

 Но, хоть я и забыл сам себя – про щуку всё-таки вспомнил. Выйдя на берег, успел и поворошить угли палкой, и помахать над ними байдарочною седёлкой – у кострища словно открылись десятки багровых и сумрачных глаз – и успел вовремя перевернуть щуку на другой бок. Теперь можно одеться, вытащить лодку на берег и опрокинуть её кверху днищем, отнести вёсла к палатке, набрать воды в котелок – словом, разделаться с бытом, чтобы после ничто не отвлекало от трапезы.

 Пожалуй, пора: вон, уже на фольге пузырится рыбный сок. Сняв щуку с углей, осторожно её развернём – пусть чуть остынет – и подбросим дровишек в костёр, чтобы сумерки были уютнее. Под щуку можно и выпить – но только немного, чтоб хмель не мешал восприятию вкуса, а лишь самую малость развязал нам язык. Ну, будем здоровы! – и тут же, с горячей фольги, будем брать пальцами ломти смуглого, нежного щучьего мяса.

 Но, признаться, при поедании щуки я впадаю в такое же забытьё – как и при её вываживании. Я как бы теряю сознание – и прихожу в себя лишь тогда, когда на фольге блестят одни лужицы рыбного сока, и только клейкие пальцы да губы подтверждают, что щуку ты всё-таки ел, что она не приснилась тебе…

 ЯБЛОКО. Вкус эдемского яблока до сих пор отзывается нам, людям, оскоминой. Ведь именно на него Адам с Евой променяли, сами того не желая, не что-нибудь – рай! Вот и думай, как нам относиться к яблоку: с почтением и восхищением – за какой ещё из плодов заплатили такую же непомерную цену? – или с ужасом, как к причине грехопадения?

 Само яблоко, впрочем, не виновато ни в чём. Как не виновата и старая эта антоновка, что растёт в нашем саду уже пятьдесят лет – та яблоня, чьи корявые ветви проступают из утренней мглы в ту минуту, когда я пишу эти строки. Надо же: целую жизнь мы прожили с ней рядом – а я до сих пор не сказал о ней доброго слова. Надо исправить ошибку, пока старое дерево живо – пока оно, может быть, даже чувствует мои мысли. В самом деле: я о нём, дереве, порой думаю – словно о человеке. Кажется, яблоня воплотила, всей своей долгою жизнью, именно человеческий идеал. Безропотность, скромность и терпеливость – и при этом почти безграничная щедрость: разве это не образец и для нас с вами?

 Что мы дали ей, яблоне, за те годы, что жили с ней рядом и пользовались её дарами? Почти ничего: кроме, разве, гвоздей, что вбивали ей в ствол, чтобы закрепить на них бельевые верёвки – да садового вара, которым замазывали, да и то не всегда, раны от спиленных сучьев. А она, нисколько не обижаясь на наше к ней равнодушие, скупость и даже жестокость – продолжала одаривать нас полновесными и вкуснейшими яблоками.

 Мы даже не сознавали вполне, что это за счастье: выйти утром из дома, сделать десять шагов до садовой калитки, и ещё через десять шагов оказаться у старого дерева. Его ствол дуплист и шершав, сучья корявы, а листья сейчас, в сентябре, побурели; но урожай нынче таков, что даже в те пять минут, пока ты стоишь, опираясь ладонью о ствол – ты слышишь и видишь, как падают яблоки. Они ударяются в землю с глухим, мягким стуком – и с каждым ударом сильнее становится запах антоновки: им в это утро наполнен весь сад. Матово-жёлтые яблоки светятся, как фонари, на зелёной отаве; а, когда берёшь яблоко в руку – оно ледяное и мокрое: даже пальцы немеют, пока на ладони лежит этот тяжёлый светящийся шар.

 Да разве, в конце концов, дело в одних только яблоках? Дары старой яблони неизмеримо богаче. Одно только перечисление птиц, которые прилетают, щебечут и возятся в кроне старой антоновки, снуют по ветвям и стволу, собирают букашек и гусениц с листьев и даже, бывает, вьют гнёзда в развилках ветвей – только перечисление птиц, прилетающих к яблоне, и то заняло бы немало бумаги.

 Зимой по ветвям снуют поползни и синицы, да прилетают порой снегири – сами очень похожие на краснобокие яблоки – или наведается пёстрая наглая сойка. Её резкий крик ещё неприятнее треска сорок – черно-белых, с зеленоватым отливом крыла – которых тоже нередко увидишь зимой на ветвях старой яблони.

 Летом птиц больше, хотя они меньше заметны. Но, если посидеть полчаса с чашкой чая в руке рядом с антоновкой – можно увидеть или малиновку, деловито сующую клювик в трещины сучьев, или скворцов, чей домик-скворешник висит неподалёку. А то залетит большой пёстрый дятел, и его торопливая дробь раздастся так громко – что выгонит из густой кроны стайку испуганных воробьёв.

 Осенью яблоню посещают дрозды и вороны. Стая пёстрых дроздов осыпает и крону, и землю вокруг ствола, и деловито шарит в поисках корма – но дрозды, по крайней-то мере, не трогают яблоки. А вот вороны, случается, крепкими клювами долбят по яблокам и сшибают их наземь. Зато, если подберёшь вот такое, побитое птицами, яблоко, то не ошибёшься: оно будет самое сладкое.

 А весной, в мае, случается и соловью запустить свою трель изнутри бело-розовой кроны. И ничего, что рядом жилые дома, что люди копаются по огородам и жгут костры – дым которых, мешаясь с вечерним туманом, плывёт над заборами – соловью нет до этого дела. Он хлещет сумерки своим звонким бичом, он свистит-щёлкает так, что заходится сердце: словно именно в сердце и целится эта отрывисто-сочная соловьиная дробь…

 ЯЙЦО. Вдруг припомнилось, как я искал потайные места, где неслись наши куры – которые, хоть их режь, не желали класть яйца в курятнике.

 Услышав квохтанье несушки, самодовольное и озабоченное одновременно, бабушка говорила мне: «Сбегай, сыщи-ка яичко» – и я резво кидался на поиски. Чаще всего квохтание доносилось из вишенника, из той непролазной чащобы, где мог пробираться лишь я, пятилетний – да куры.

 На четвереньках, не жалея локтей и коленей, я лез туда, где недавно сидела несушка, и где мир становился всё более тесен. Сейчас думаю: то сплетенье вишнёвых ветвей, в котором я пробирался, словно в дремучем лесу – оно представляло мне образ целого мира, в котором мне было приказано что-то найти. Без этого «что-то» я не только не мог возвратиться обратно – но я бы, наверное, так и пропал в непролазной чащобе.

 И когда, много после, я встретил на умных страницах выражение «эмпирический мир» – я представлял его как раз в виде вишенника, сквозь который я продирался, ведомый куриным квохтанием жизни. Что я видел в том мире? Гущу ветвей да потёки янтарного клея на шелушащихся тонких стволах, чёрные ягоды вишен в белёсой пыли, жухлые листья, куриный помёт… Этот мир был мучительно-скучен и почти тошнотворно знаком – но, вместе с тем, он был так загадочен, так непонятен! И он в себе нечто скрывал – именно то, что я так упорно искал, к чему так стремился, ползя меж ветвями и мусорной пыльной землёй.

 А вокруг гудел летний полдень. Его монотонно-клубящийся гул состоял из зудения мух и брунзжания пчёл, шума крови в ушах, стукотка и ворчания трактора где-то вдали, за околицей, из гудения в небе басовитой струны самолёта – и ещё из каких-то натужных, густых, непонятных мне звуков. Может быть, так звучало само разомлевшее время – сквозь которое я пробирался, как сквозь сплетенье вишнёвых ветвей?..

 Вот меня привлекал красновато-смолистый натёк на стволе – я отклеивал тёплую липкую мякоть и начинал увлечённо жевать. Зубы щёлкали, то отлипая от клея, то вновь погружаясь в пахучую вязкую массу. До сих пор для меня вишнёвая смолка – можно сказать, символ детства, свидетель и признак того, что я некогда был пятилетним мальчишкой. Не этой ли смолкой и до сих пор я приклеен к тому, средь чего я живу – не она ли и держит меня в этой трудной и путаной жизни?

 Но вдруг, краем глаза, я замечал на дне пыльной лунки, насиженной курицей – ослепительно-белую вспышку яйца! Оно было таким поразительно чистым и юным – что даже я, пятилетний, рядом с этим яйцом был почти стариком. Упав на живот, потянувшись, я осторожно брал в руку яйцо – ещё тёплое, гладко-шершавое, с пестрым пёрышком, что прилипло к его скорлупе – и меня вдруг пронзало таким ощущением счастья, какое ни до, и ни после так и не довелось испытать…

 Калуга, 2013 – 2016 гг.